

[Polaris]

ВИКТОР ГОНЧАРОВ



ДОЛИНА СМЕРТИ

Полное собрание сочинений

Том III

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА



Salamandra P.V.V.

ВИКТОР ГОНЧАРОВ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том III

**Виктор
ГОНЧАРОВ**

**ДОЛИНА
СМЕРТИ**

(Искатели детрюита)

Salamandra P.V.V.

Гончаров В. А.

Долина Смерти (Искатели детрюита): Роман приключений. Подг. текста и прим. А. Шермана. Илл. А. Ушина. (Полное собрание сочинений в шести томах, т. III). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 248 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика).

В третий том собрания сочинений В. Гончарова вошла «Долина Смерти» – классический роман в жанре «красного Пинкертона». Хладнокровный английский шпион, дьякон-расстрига, «контрик»-гипнотизер и его подпольная армия, сумасшедший изобретатель, супермен-рабфаковец с удостоверением чекиста и револьвером в кармане – вся эта пестрая компания охотится в романе за фантастическим и смертоносным веществом, переживая по пути удивительные приключения.

ДОЛИНА СМЕРТИ

(Искатели детрюита)

Роман приключений



ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Москве, на Никитской, стоит церковка имени «святого» Полувия. Церковка — ветхая, в землю вросшая, покривившаяся к восходу. Может быть, ей 200, может — 300 лет. Но благочинный клялся, утверждая, что ей, по крайней мере, с тысячу будет, и приводил неоспоримые к тому доказательства, ссылаясь на свидетельства равноапостольных Кирилла и Мефодия. Студенты, на дворе церковном, в домике маленьком дьяконском жившие, ни благочинному, ни «равноапостольным» не верили, великомученика Полувия иначе не называли, как святым лодырем. И никто, — даже дьякон — человек образованный в высшей степени: Дарвина-безбожника (что человека от обезьяны произвел) читал, даже дьякон не верил. А дьяконица — особь смешливая — только хихикала, приседая, когда молодежь разнузданно проезжалась насчет сомнительных древностей церкви. Значит, и дьяконица не верила.

Но не в этом дело. И не в том, что двор церковный осеялся тысячелетней благодатью святого лодыря Полувия почему-то, а не Епифания, Германа или Савина, хотя все они имели одинаковые на то права, будучи лодырями в одина-

ковой степени и даже записанными в календаре на один и тот же день — 12 мая. Дело не в этом.

Поп умер в октябре, в тот самый миг, когда увидал бесчестие, совершенное над Полувием матросом неким — при трех бомбах, с револьвером и винтовкой. Дьякон остриг волосы и залез в Наркомпрос — в рассыльные и регистратуру, дьяконица — там же — осела на входящем-исходящем. Но все-таки и это нас мало интересует: все это — историческая справка, не более и ни менее. Вот поговорим о студентах. Что касается Левки, то и его мы оставим в покое: он вышел в тираж в разгаре гражданской войны, записавшись в «славные» рати генерала Корнилова и погибнув там смертью «славных» от большевистской пули. Другое дело — Митька. Митька Востров. Общим у них было то, что, будучи медиками, оба они с революцией свихнулись: медицину забросили и занялись «черти-чем», как говаривал дьякон. Левка, как было сказано выше, поступил в Добрармию, но не врачом, а пулеметчиком, и окончил жизнь свою вышеупомянутым образом; Митька же сделался изобретателем, причем, в противность другу своему, изобретателем красным. Благодаря мощной, от папеньки-грузчика унаследованной, комплекции и благодаря изворотливости, переданной ему матушкой, мешаночкой города Тулы, только благодаря этим двум наследственным качествам, он не погиб в революционной распре, а когда боевая волна схлынула, непонятным образом застрял на том же дворике церковном, под сенью св. лодыря Полувия, в обществе дьякона-расстриги и смешливой дьяконицы — исходящей-входящей. За революцию он приобрел солидность, и звался теперь не Митькой, а Дмитрием Ипполитовичем. Больше ничего не приобрел — ни во внешности, ни во внутреннем содержании. И как жил в дьяконском домике — уныло и скромно, неизвестно на что существуя и остро не выражая симпатий ни красному, ни белому цвету, так и продолжал жить. Только род занятий окончательно переменял.

Раньше зубрил — неистово и упоенно, для полноты эффекта уши гигроскопической ватой затыкая: за тонкой стеной дьякон, дьяконица и околоточный надзиратель азар-

тно дулись в преферанс. Ссорился с Левкой по поводу очереди в гастрономическую лавку — за колбасой и булкой; сопровождал его на гитаре лунными вечерами, когда тот меланхолично дергал мандолинные струны. Боролся с геморроем, эволюционно-упорно, по Дарвину, одолевавшим его.

Теперь — покупал колбы, реторты и тигеля: портил предохранительные пробки, сжигал электрические провода, в домике устраивал взрывы и пожары, — одним словом, изобретал и изобретал крепко.

.

— Вы мне, Димитрий Ипполитыч, квартиру портите, — внушительно гнусава, замечал дьякон-расстрига, по привычке проводя рукой под подбородком, как бы оправляя бороду. — Вон вчера пол даже прожгли... Ин дырка какая!.. Чем это вы, ну-ка?..

Дырка, действительно, глубоко пробуравливала тесину пола, и оттуда веяло холодом.

— Вентиляцию, что ли, устроили?..

Дьякон не был лишен юмора, но любил казаться мрачным и недовольным. На самом же деле, он всегда с большим любопытством следил за опытами несообщительного квартиранта, и когда ему удавалось, на уголке дивана прикурнув, поймать одну-другую нечаянно вслух выраженную мысль изобретателя, — большего ему и не требовалось. В последнее время, впрочем, квартирант сделался более общительным и оживленным, в особенности после порчи пола. А сегодня он даже эдакое ляпнул:

— Я, Василь Василич, скоро буду знаменитостью...

— Ждем, ждем этого... Очень долго ждем... — поспешно отвечал дьякон, надеясь на продолжение разговора и, тем не менее, делая ехидную гримасу.

— Да, Василь Василич, — продолжал изобретатель, не отрываясь от ступки и поэтому не замечая язвительного

лица собеседника. — Да, Василь Василич, мой детрюит вчера увидел свет... Если бы я догадался принять заранее кое-какие меры, он не ушел бы в подполье...

— Гм... В подполье? Так это детрюить наделал!

Дьякон изменился в лице в сторону некоторого почтения к изобретателю, встал с дивана, кошачьими шагами обходя знаменательную дырку, и осмотрел ее уже не с точки зрения порчи комнаты.

— Вот так детрюить! О-о!..

Но Митька снова замкнулся, и ему ничего более не оставалось, как, повертевшись для фасона вокруг да около, идти к дьяконице играть в «пьяницы».

— Слышь, Настасья, Митька-то детрюить изобрел!

— Детрюить?! И-хи-хи-хи-хи!..

— Ну и дура!.. сдавай, что ль...

Насквозь просаленные карты шлепались жирно, росли горкой. Хихикала дьяконица, привычно оставляя благоверного в «пьяницах»; насупился дьякон... И уже подошло время — вскочить ему в агитации, кулаком смахнуть карты-блины на пол, в сердцах выдохнуть: «Жульничаешь, Настька!..» Не успел...

Трррах-тах-тах!!! Хлопнули двери, напором взрыва разброшенные, посыпались, звеня, склянки...

— Господи Сусе Христе! — вымолвил дьякон, затылком приложенный об пол.

— У Митьки это... — побелевшими губами выдавила изпод стола дьяконица.

.

Бледный, с мокрым лбом, с прилипшими к коже волосами стоял изобретатель в своей комнате, у развороченной стены, посреди брызг стекла, опрокинутых тигелей, порванных проводов. Сочилась кровь из пальцев руки и щеки. Тем не менее, лицо его было снисходительно-довольным, и не на разрушение смотрело оно. Тонкая металлическая

палочка с свинцовой головкой-шариком в окровавленных руках изобретателя и дьякона отвлекла от требуемых катастрофой вопросов, заставив забыть о тупой боли в затылке и проворковать, осторожно просовывая голову в дверь:

— Изобрели, Димитрий Ипполитович?..

А дьяконица, заглянув через плечо супруга, всплеснула руками и выдала себя:

— Боже мой, Митя, да ты ранен!..

.

Перевязанный во всех направлениях, не выпуская палочки из рук, сидел Дмитрий Ипполитович в покоях дьяконских. Уже хихикала легкомысленно дьяконица, прислонив голову к косяку двери. Лебезил дьякон, угощая печеной картошкой счастливого изобретателя. А тот, возбужденный событием, разряжался от долгого молчаливчества, но и картошку не обходил молчанием:

— В периодической таблице элементов... сыровата картошечка-то...

— ...Положите ее... вот другая, поджаристая...

— ...Элементов профессора Менделеева... эта ничего... в 1-ой группе 10-го ряда 87-ой порядковый номер не был заполнен, пустовал... По одну сторону его находился недавно открытый — наверно, вы слышали? — радий, по другую — эманация радия... Радий — 88-ой номер, эманация — 86-ой... А на месте 87-го ничего не было... Можно еще?..

— Пожалуйста, Димитрий Ипполитович...

— И-хи-хи-хи... какой хитрый!..

Изобретатель негодуяюще сверкнул раскосыми глазами в сторону дьяконицы и продолжал:

— ... 87-ой номер пустовал... Но это не значит, что не были известны свойства того элемента, который должен был занять со временем пустующее место. Они были известны, представьте себе! Так часто бывало: сначала открывали свойства элемента, потом и самый элемент... Так и здесь.



Можно было, не зная еще, что за элемент скрывается под номером 87-ым, можно было установить: какими свойствами он обладает... благодарю вас... В той группе, к которой относится номер 87-ой, находятся благородные металлы: золото и серебро, затем другие металлы — тоже не совсем обыкновенные... Отсюда я вывел заключение, что и в пустующем номере должен находиться не совсем обыкновенный металл, понимаете?..

— Так-так-так-так... кушайте-кушайте...

— ...Благодарю вас. Сыт по горло. Не лезет... Впрочем, еще одну можно... Было еще другое соображение, которое заставило меня придать искомому элементу необыкновенные свойства.. Вы знакомы с радиоактивностью?..

— Так-так-так...

— ...В десятом ряду периодической таблицы все элементы — радиоактивные, начиная с урана, который является прародителем радия, и кончая эманацией, все выделяют из себя мельчайшие частицы, обладающие удивительными свойствами. В качестве примера, наиболее яркого, возьму радий. Он испускает из себя альфа-частицы и бета-частицы, — это как бы лучи, исходящие из его массы. Альфа-частицы обладают скоростью, в 20000 раз превышающей скорость пули, выпущенной из современной винтовки. Бета несутся еще быстрее... Если бы не существовало препятствий, бета-частицы могли бы в течение одной секунды облететь вокруг земли семь раз... Благодаря своей чудовищной скорости, эти частицы оказывают разрушительное действие на тела, попадающиеся им на пути. Так, например, на коже человека радий вызывает глубокие язвы. Некоторые же другие тела совершенно разрушаются под влиянием бомбардировки со стороны частиц радия... Вот тут я перехожу к открытому мною детрюту...

На основании того, что рядом с 87-ым номером в периодической таблице помещается 88-ой — радий, я предположил в искомом элементе (87-ом) свойства, похожие на свойства радия, но только еще более интенсивно выраженные... И мои предположения блестяще оправдались. Чему

доказательством дырка в полу и развороченная стена, которые, надеюсь, вы видели...

— Так-так-так-так...

— Вначале я думал, что не смогу удержать его в руках, так как никакие тела не выдерживали бомбардировки со стороны его частиц... Но потом нашел, что свинец — единственный из всех металлов — великолепно противостоит действию детрюита... В свинцовый шарик, как видите, я и заключил свой бунтарский металл...

У дьякона блеснули глаза. Дьякон плотоядно облизывал губы, что-то соображая.

— Димитрий Ипполитович, — начала дьяконица робко, а потом зафыркала, — как же это вы им стену-то разворочали?..

— А очень просто, — отвечал изобретатель, любовно поглаживая свинцовую головку, — когда он вполне остыл, я открыл крышечку шарика, но не принял во внимание, что отверстие слишком широко... Поток частиц вырвался оттуда и произвел это разрушение... Теперь я отверстие сузил; луч, исходящий из шарика, в диаметре равняется маковому зернышку, и теперь он не производит такого грома и разрушения... Хотите — попробуем?..

Дьякон в ужасе метнулся в другую комнату. Дьяконица оказалась менее боязливой, потому что ничего не понимала.

— Да вы не пугайтесь... это пустяки... — успокаивал изобретатель.

— Хороши пустяки, — отозвался дьякон, просовывая в дверь встревоженную физиономию. — Пустяки, ну-ка?..

Дмитрий Ипполитович подошел к открытому окну, осмотрелся по сторонам и направил шарик на купол ссутулившейся церковки. Прицелился и открыл отверстие. Тонкий пронзительный свист прорезал неподвижный, упоенный солнцем воздух. Крест на куполе дрогнул, качнулся и рухнул вниз... Одновременно звякнуло стекло в окне противоположного дома — двухэтажного... Изобретатель поспешил укрыться в глубине комнаты.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Страдная экзаменационная пора.

Как нарочно, — когда солнышко начинает улыбаться по-вешнему: с задором, тепло и ласково; когда влажная распарившаяся земля ершится нежным ярко-зеленым бобриком газона и светится знойно-желтыми огоньками одуванчика, а в ароматном воздухе ходят мягкие волны и льнут к лицу, и щекочут, и подмывают на молодецкие выходки... как нарочно, извольте-ка, в эти сочные майские дни, сидеть в душной, пыльной комнате и долбить сухую книжную премудрость...

Вот послушайте только...

С балкона третьего этажа, — балкон окутан с ног до головы золотистой фатой смеющегося солнца, — с балкона вниз на дворик с молодой изумрудной зеленью падает тяжело — хоть и энергичное, но отнюдь не захватывающее — гудение двух вперемишку юных голосов:

— ...Итак, Мальтус полагал, что избыточное население, существующее во всех империалистических странах...

— ...Не империалистических, а капиталистических...

— Ладно, не придирайся: один черт!.. Избыточное население есть результат абсолютного перенаселения, но оно порождается физиологическими причинами и рано или поздно становится неизбежным при всяких условиях общественного развития...

А из окна под балконом — со второго этажа — совсем унылой мелодией звучит третий голос, женский, с заупокойными переливами:

— ...Магнитные силы обнаруживаются нами всякий раз... всякий раз, когда по тому или иному проводнику течет... течет электрический ток... Что такое электрический ток? Что такое электрический ток? Это есть передвижение электричества... На что действует магнитное поле?.. На что действует магнитное поле?.. Разумеется, не на саму проволоку... разумеется...

А солнце-то! Солнце-то! А воздух! А ветерок! А воробы-то разодрались! Черт меня подери, если я не понимаю состояния трех юных рабфаковцев, законами исторической необходимости заключенных в деревянную коробочку — домик нелепый, трехэтажный, что насупротив Полувия грибом воткнулся в землю!.. Ого-го-го, как еще понимаю!.. Но не в этом дело.

Из нижнего окошка высунулась женская головка — волосы подстрижены, как и полагается им быть, глаза — унылы, к груди книга прижата. Головка перегнулась румяным лицом кверху.

— Ванька! Павлушка! Черти!!.. Да не могу же я! Черти! Поедьте за город! Смотрите, солнце-то!!..

С балкона — угрюмое молчание. В молчании — чуткая настороженность слишком хорошо знакомых со сладостью падения. Закон Мальтуса-Рикардо не цитируется больше.

— Ванька! Павлушка! Можно к вам?

Молчание. Смотрят друг на друга испытующе: румянолицый гигант Ванька с американским тяжелым подбородком и с профилем Шерлока Холмса — на черномазого вертлявого Павлушку, которому природа на смех отпустила черные сросшиеся брови и суровые глаза.

— Ну, — говорит первый, встряхивая упрямыми белокурыми вихрами.

— Ну, — отвечает второй, глядя в упор строгими глазами, в которых, тем не менее, чертики, — и в книгу:

— Учение Мальтуса о необходимости «нравственного воздержания» низших классов от брачной жизни подвергалось с течением времени любопытному превращению в доктринах «неомальтузианцев»...

— Ванька! Павлушка! Ну, подождите же!.. — скрылась подстриженная головка в комнату, испустив горестный крик отчаяния. И снова — заупокойное:

— ...На что действует магнитное поле? Разумеется, не на саму проволоку, не на железо и не на медь, а на то электричество, которое в этой проволоке передвигается... ну, подождите же, черти!.. передвигается.....

Смеется солнышко, купаясь в майской нежности воздуха. Томно чирикают воробьи на крыше, разопрев от перегретого железа. Мрачно гудит рабфаковская братия...

Пропустим времени столько, чтобы в течение его можно было прочесть и усвоить — Павлу и Ивану — главу 5-ую «Политэкономии» Богданова о «главнейших изменениях общественной психологии в периоде машинного капитализма», а рабфаковке Марусе «Электричество» по учебнику Краевича. Это отнимет у них приблизительно полтора часа. По прошествии этого срока...

— До-воль-но! — вдруг срывается Павел, перед носом опешившего товарища захлопывая книгу. — До-воль-но!.. Который час, Ванька?

— Ты, во-первых, не кричи, — вставая в свою очередь, говорит рассудительный Иван, — во-вторых, никогда так резко не захлопывай книги: если бы я на сантиметр ниже держал нос, ты бы его прихлопнул, как пить дать, а в-третьих — незачем спрашивать о часе, когда над головами солнце...

— Обстоятельно! Здорово обстоятельно! Ха-ха!.. — Павел задрал нос кверху, сморщился под колючим золотом лучей и, неожиданно, чихнул... Что?.. Да-да, чихнул. Событие как будто незначительное, но оно было чревато. Вот смотрите.

Мы сказали: неожиданно.

От неожиданности Иван выронил книгу, и она упала вниз, на зеленый коврик, Маруся не замедлила высунуть из окна голову, но это уже к делу не относится, и что она крикнула со смехом — тоже не важно. По двору проходил дворник Карп. Рабфаковцы склонились к нему через перила.

— Товарищ Карп, — сказал Иван, — будь добр, брось сюда книгу...

— Доучились, и книги из рук валяются, — философски заметил Карп, приступая к выполнению просьбы.

В это время стекло балконной двери лопнуло — звякнуло, посыпались осколки... а над склоненными головами

юношей свистнуло что-то, будто тонкий проволочный бич рассек воздух.

Карп книгу бросил с новым замечанием:

— А стекла нечего бить, они денег стоят!..

Ребята книгу, словно голубь-кувыркун затрепыхавшую в воздухе, поймали и обернулись к двери с намерением выругать хорошенько любителя купеческой забавы. Там, однако, никого не оказалось.

— Странно, — сказал гигант Ванька, — ты слышал, как свистнуло?..

— Да, — отвечал черномазый Павлушка, — и если бы мы не перегнулись через перила, нас свистнуло бы по башкам.

— Мы потому перегнулись, что я уронил книгу.

— А ты уронил книгу, потому что я чихнул.

— А твой чих вызван был солнечными лучами, когда ты хотел по моему совету посмотреть на солнце, чтобы узнать время...

— Да. Но ведь я первый сказал «довольно» и захлопнул Богданова, и я же спросил тебя про время.

— Ладно, — сдался Иван, — твой верх... Однако что это за чертовщина?..

Чертовщину рабфаковцы не разгадали, хотя сделали добрую сотню предположений; после этого они занялись яичницей, в приготовлении которой приняла активнейшее участие вихрем взлетевшая по лестнице Маруся Синицына.

Всякий знает, как делается яичница, и какой разговор ведет между собой молодежь, у которой язык без костей и подвешен хорошо. Потому ни о разговоре, ни о приготовлении яичницы мы распространяться не станем.

Яичница на столе; разговор принимает направление, характеризующее рабфаковцев:

— Кто сегодня вечером в Петровку? — обращается Маруся ко всем, а ответа явно ждет от Ивана.

— Н...н...е...знаю, — мотает головой Павел, — может, поеду, а может, нет...

Павел — большой руки дипломат, нужно заметить. И кроме того, имея подвижность ртути, он никогда не знает, куда потечет через пять минут.

— А ты? — спрашивает Маруся второго рабфаковца, равнодушно смотря в сторону.

Иван прожевал, проглотил, убедился, что хорошо пошло, и тогда ответил:

— Я знаю, что не поеду. Завтра экзамен.

— Ну что ж, что экзамен?.. Не съедят же тебя?

— Съесть не съедят, потому что подавятся, а случится что-нибудь может.

— Иван, ты с ума сходишь с этим новым своим увлечением,— морщится недовольно Маруся,— все у тебя случай, случай, и все ты принимаешь меры от случая... Так жить нельзя.

— Я случаю войну объявил, — улыбается Иван, и в пространство стучит мощный кулак. — И так жить, именно, нужно.

— Ну, а что может с тобой, например, в Петровке случиться? — задает вопрос Павел с явной целью поиздеваться над товарищем.

— Что случилось с Сережкой Путиловым? Ногу вывихнул и пролежал целую неделю. Что случилось с Авиловым Колькой? Баловался на лодке, упал в пруд и вымок до костей... Пришлось сушиться целую ночь... Что случилось с Борькой Некрасом? Заблудился в чаще с кем-то, только к обеду на следующий день пришел... Что случилось с Маруськой?..

— Довольно! Довольно! Хорошо! Хватит, убедил! — Это Маруся поспешила осадить разошедшегося «борца со случаем».

— Так. — Павел делает суровую мину, используя ошибку природы: то есть морщит крылья бровей и внушительно строго упирается взглядом.

— Какая же у тебя гарантия, голубчик, от следующих случаев, которые также могут произойти и помешать твоему экзамену: первое, от землетрясения, которое может разбиться и поглотить твою тяжеловесную особу, второе — от кирпича, вдруг сверху сорвавшегося на твою голову, от... и т. д. и т. д. — вплоть до того случая, что я могу, на почве

весеннего благорастворения воздушных, вдруг взбеситься и всадить тебе вилку в горло, приняв его за яичницу?..

— Намолот, — улыбается невозмутимо Иван. — По теории вероятностей...

— К черту теорию вероятностей! — кричит Маруся. — Надоела! Ты про нее в день по сто раз лопочешь...

— По теории вероятностей упомянутые тобой случаи могут происходить раз в 2000-3000 лет. Я их не принимаю во внимание. Я объявляю войну только тем случаям, которые повседневны и связаны всецело с нашей расхлябанностью и непредусмотрительностью. Вот, например... подними, пожалуйста, папиросу, она горит... вон-вон там, в углу, на чемодане... может быть пожар... а ты, Марусенька, будь добра, сними сковородку с дверки печки... я понимаю, ты ее убрала туда от кошки, но она пребывает в крайне неустойчивом равновесии, упадет и разобьет тарелку, которая стоит как раз под ней...

— Ха-ха-ха!.. «Борец со случаем»!.. — Маруся сковородку однако снимает.

— Гениально! Изумительно! — бормочет Павел, делая вид пришибленного, но окурочек поднимает. — Детектив! Шерлок Холмс!.. Шерлок Холмс — только... наизнанку... Ха-ха-ха...

Иван безмятежно улыбается:

— Почему «наизнанку»? Хочешь, докажу, что и не «наизнанку»? Чудес хочешь, чтобы уверовать?

— Пожалуйста, пожалуйста, Ванюша! — виснет Маруся на рукаве у «Шерлока Холмса». — Ну-ка, расскажи что-нибудь... про нас что-нибудь... Я так люблю слушать!

В серых глазах Ивана — лукавые огоньки. Через секунду вместо них — сосредоточенность, работа мысли, он окидывает зорким взглядом своих собеседников.

— Вот вчера ты...

— Меня оставь в покое! — торопливо перебивает вдруг заерзавший на стуле Павел.

— Нет, уж извини. Хочешь чудес, хочешь доказательств, так слушай: ты вчера имел смычку, — свидание, что ль, — с некой буржуазной дамой...

— Врешь! Врешь! Докажи!..

— ... с некой буржуазной дамой. И притом смычку довольно интимного характера... Это, между прочим, совсем не коммунистично...

— Он брешет! Брешет!.. На арапа бьет!.. — кричит Павел, крайне смущенный, обращаясь к рассыпавшейся в беззвучном смехе Марусе.

— Зачем на арапа? Нет. Я даже скажу, что твоя дама — жгучая брюнетка, небольшого роста, очень небольшого. Ну... еще что?..

Под острым, сосредоточенным взглядом Ивана Павел чувствует себя, как раздетый посреди людной улицы...

— У нее длинные отшлифованные ногти... Одним словом, «элемент»... Может, довольно?..

Маруська на десятом небе от блаженства, но ее смущает немного, что Иван теперь переводит свой взор-кинжал на ее голову, платье, руки, ботинки.

— Подожди, подожди! — кричит она. — Объясни раньше, как это ты Павлушку вскрыл?..

— Хочешь? — обращается Иван к надувшемуся Павлу.

— Очень даже, — ледяным тоном отвечает тот.

— Первое, — отсчитывает Иван по пальцам. — У меня очень тонкое обоняние, от Павлушки же благоухает духами...

— Я вчера в парикмахерской был...

— Неправда, — говорит Иван, а Павел, как черепаха, которую ущипнули за хвост, втягивает голову в плечи. — Ты надушен не одеколоном, а именно духами: мой нос не проведешь... Из наших, конечно, никто не занимается этим делом, следовательно, твоя дама — из «благовоспитанного» общества. Из того же факта, что одежда твоя так напиталась ароматами, следует интимность вашего свидания. Затем... Снимите, Павел Никифорович, с третьей сверху пуговицы вашего френча черненький волосок. Он не ваш, ибо чересчур длинен.

Павел обнаруживает в указанном месте названный предмет, краснеет, пыхтит и вдруг раздражается смехом — смех достаточно громок, но недостаточно искретен:

— Ха-ха-ха!.. Молодец!.. Беру свои слова обратно! Настоящий Шерлок Холмс — патентованный... Довольно! Молодец!..

— Нет, нет!.. — протестует Маруся. — Насчет интимности и низкого роста — ясно, а вот откуда «отшлифованные» ноготки?..

— Это сам Павлушка тебе скажет...

Смущенный Павел трет кисть левой руки.

— Царапается, черт, как кошка, — бормочет он.

— Ну-с, примемся за Марусеньку...

— Ну-ка, ну-ка, ого!..

Только что «Шерлок» запустил свои щупальцы на новый объект, как последний, сорвавшись со стула и уронив со стола нож, метеором мелькнул в дверь... Тррр-ты-ты-ты... — посыпались каблукы по лестнице... Ха-ха-ха!.. — вдогонку...

Уговорившись относительно завтрашнего дня, Павел ушел вслед за Марусей. Оставшись один, Иван почувствовал неприятный осадок в сознании. Что-то не по себе было. Стыдно было, вот что.

— Экий я дурак, — соображал он, — словно мальчишка, увлекся сыщицкими наклонностями... Да еще разоблачениями занялся, балда!..

И сейчас же, противореча самому себе, собрал осколки разбитого стекла, исследовал их тщательно, словно они ценились на вес золота, завернул в бумагу.

Так же тщательно осмотрел противоположную стеклянной двери стену. Потом разочарованно свистнул, не найдя никакой нити к загадочному происшествию.

Задумался и в таком состоянии просидел около часа, вопреки своей положительности и рассудочности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не оставалось и тени сомнения: палочка исчезла... Не клал он ее в шкаф с книгами?.. Конечно, туда и положил... Но там ее не оказалось...

Перевернул комнату чуть ли не вверх дном... обыскал каждый закоулок — даже в туфли ночные заглянул — нет палочки, исчез детрюит.

Комната на ночь запиралась — дверь и теперь на крючке. Крючок массивный, через щелку его не откинешь.

Окно?.. — Окно открыто.

Волосы рвал на себе злополучный изобретатель; ломал пальцы в непроходимо-черном отчаянии... В глотке загорчало от спазмов... Заскочили глаза внутрь, втянув кожу темными кругами...

Что делать?! Последние гроши истрачены... Нет больше урановой руды. Перебиты-исковерканы химические приборы. Детрюит родился в муках и, появившись на свет, уничтожил все, что способствовало его рождению.

Выскочил из комнаты...

Дьякон ушел в Наркомпрос, дьяконица — на исходящий-входящий, — перевалило за одиннадцать утра.

Выскочил на двор, потом за ограду, на улицу... И без шапки, с расстегнутым воротом, помчался вниз по Никитской...

Куда? Куда?

Прохожие шарахались в сторону. Мальчишка-моссель-промщик свистнул вдогонку через пальцы. Милицейский хотел остановить, но передумал, махнув рукой. Лишь шершавая собачонка с пронзительным лаем назойливо увязалась вслед, пытаясь тяпнуть за ногу...

С налитыми кровью глазами обернулся на полном ходу к ней:

— Р-р-р-разрушу!!.

Вначале было занятно: большой лохматый человек с исцарапанным лицом, в протертых брюках студенческих, атаковывал маленькую шершавую собачонку, хрипло вопя:

р-р-разрушу! — а та, играя, отпрыгивала, безостановочно лая и взвизгивая от удовольствия...

— Папа, смотри, пьяный...

Обыватель с брюшком потащил сына на другую сторону:

— Нет, детка, это — сумасшедший...

Три дня и три ночи пропадал дьякон. В первый день и в первую ночь мучилась дьяконица Настасья. Ворочалась на пуховой перине и, давя клопов на стене, догадывалась, почему ушел муж:

— Это потому, что я Митеньку при нем нежно обозвала, когда он ранился...

Вздыхала и делала вывод:

— Господи, жуть-то какая! Ни одного мужчины в доме!..

На второй день, заплевав губы шелухой от подсолнухов, тараторила легкомысленно в палисадничке при лодыре Полувии:

— И на что мне дьякон сдался!.. Да и не дьякон он, а расстрига!.. Подумаешь,— сокровище какое!.. Без него не проживу! Чего мне? Сама служу, сама деньги зарабатываю... Вот возьму да и найду себе нового мужа... И-хи-хи...

Пойми-ка ее: то ли она шутит, то ли серьезничает!.. Затараторила про какого-то красавца Петю Огуречного, регистратора при Наркомпросе, о брючках его галифе фасонных, об усиках в стрелку... и понесла, и понесла...

Неодобрительно отозвалась сторожиха — женщина строгая и «в положении»:

— Озорная ты, дьяконица. Ветер у тебя в голове... Поэтому и детей нет.

Слушать больше не стала: ушла, бросив сурово:

— Ты бы, хуч, губы от шелухи ослобонила...

— И-хи-хи-хи!..

На третий день, поздно вечером, яко тать в ночи, пробираясь вдоль церковной ограды и галифе пачкая известкой, пришли «усики стрелкой» к дьяконице. Пришли и дол-

го засиделись. Не на ветер бросала крылатые слова дьяконица Настасья. Посерело небо от усталости: все ждало — когда-то откроется домик церковный в три окошечка; заморгали виновато звездочки, пропадая одна за другой, взволнованный примчался ветер, с полей примчался росистых и прохладных: конфузливо взрумянилось облачко на востоке. — Не выходили «усики».

— Дур-рак!.. — в досаде крикнула ворона на обескрестенном куполе, каркнула и кувыркнулась в помойную яму...

...Вернулся дьякон-то!.. С черного хода зашел, опасливо озираясь; стукнул два раза в окошечко, забубнил:

— Мать, а мать!! Ну-ка!..

Ох, и всполошилась дьяконица, голос родимый узнавши... И напугалась и обрадовалась до смерти...

Пойми-ка ее!..

Зашипела на «усики»:

— Ну, ты, развалился! Собирайся, что ли!.. Муж пришел... Да ну, скорей, черт вас здесь носит!..

— Мать, а мать? Ну-ка... — бубнил дьякон с осторожкой. — Ну-ка, выглянь, мать...

«Усики» галифе быстро надели, а с сапогами еле-еле справились: и то правый на левую ножку напялили, а левый на правую...

— Ох, скорей!.. Горюшко ты мое!.. — ныла дьяконица, пальцы ломая... шипела: — Сам откроешь там, ключ-то аглицкий... Дверь только покрепче прихлопни за собой... О, уродина!..

И к окну. Ставень открыла:

— Вася!

Зарос дьякон волосами до глаз, а глаза вороватые — бегают, бегают...

— Что, мать, Митька-то дома?

Обиделась дьяконица.

— На кой ляд мне твой Митька сдался!.. Думаешь, валандаюсь я тут с ним, с прыщавым?.. Я тут мучаюсь, а он... — И в слезы.

Нетерпеливо перебил дьякон:

— Брось, мать, я не про то... Где Митька-то, отвечай! Спит, что ли?

— Нету Митьки! Был да весь вышел!.. В сумасшедшем Митька твой сидит! На вот!..

— Что-о? — Уже два года, как не было у дьякона бороды, а тут опять вспомнил, за бороду схватился и поймал воздух.

— В су-ма-сшед-шем?

Обрадовался прохвост, зубы гнилые до ушей ослабил.

— А ну, отпирай, мать... Я уж тебе порасскажу... заживем, мать...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Экзамен сдан благополучно. Никакие случаи и случайности не помешали ему. Но ведь зато и меры были приняты соответствующие. Меры, в корне пресекающие возможность появления недруга рода человеческого — случая. А Павел так и не явился, проморгал срок. Замотала его ароматная дама.

— Эх, Павлушка, Павлушка!.. Связался ты с кем не следует! Пропадешь ни за грош ломаный!.. Хороший ты парень, жалко... Не мы ли с тобой дули и в хвост, и в гриву Калединых, Корниловых, Деникиных, Колчаков, Врангелей и пр., и пр.?! Мы. Да как дули? Только перья золотые из генеральских хвостов по воздуху реяли...

— Эгой, Карп, Карп!.. Газеты есть?..

— А то, — отвечает флегматично дворник.

Иван Безменов — светловолосый гигант — через пять ступенек на шестую скатывается по лестнице: не сходит, а слетает вниз — на крыльях... впрочем, без всяких крыльев, хорошо развиты мышцы ног, крепки и упруги, хоть одна и прострелена в бою под Воронежем с бандами генерала Мамонтова.

— Иди-т-ко сюда, — таинственно манит его дворник, — смотри-кось, чьих это рук дело?

Безменов смотрит по направлению корявого пальца дворника: за трехэтажным зданием кренится купол сутулой и в землю вросшей церковки.

— Ну? — спрашивает Безменов, ничего особенного не замечая. — Церковка, как церковка, давно на дрова поря. Больше никуда не годится...

— Разуй глаза-то, — советует дворник. — Симпола-то рабства и невежества, чай, нету? Гляди!..

— И то — нет креста...

— Ну вот то-то, — дворник удовлетворяется сказанным и, ухмыляясь, идет по своим делам. Пройдя двор, он снова оборачивается:

— В народе бают: сами долгогривые симпол-то ночью сняли, чтобы потом обновление устроить...

Иван совсем другое думает: нет ли связи с балконной дверью?

— Надо исследовать, — говорит он себе. — Вечером залезу на купол, если креста не найду...

Задумчиво поднимается к себе — наверх.

В газете, полученной от Карпа, в отделе хроники, бросается в глаза жирный заголовок:

ТАИНСТВЕННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

Читает и еле справляется с бурным приливом волнения:

В последнее время в Москве стали совершаться необыкновенные и по технике и по результатам кражи. Некоторые из них отдадут простым ребяческим озорством, другие пахнут миллиардами, но все они объединяются однообразием воровской техники. Последняя весьма проста, и в то же время до сих пор не разгадано то ору-

дие, при помощи которого вор одинаково легко режет и стекло, и камень, и дерево, и металл, и... человека. Целый ряд случаев прошел перед нашими глазами.....

Вор замечательно ровным четырехугольником вырезает в зеркальных витринах стекла, в каменных стенах — целые плиты, режет железо, сталь, несгораемые шкафы... Кражи заключаются в случаях от пары лакированных ботинок и коробки конфет до сотен червонцев и ценных бумаг.....

В двух случаях было совершено зверское убийство, расчленен пополам человек — случайный прохожий, и хозяин магазина, найденный просверленным каким-то оружием насквозь на уровне сердца.....

Несомненно, что все кражи и убийства совершались одним лицом.....

Приняты все меры.....

— Приняты все меры, — машинально повторяет Иван, — а я приму дополнительные. — И его серой стали глаза становятся вдруг снова острыми, как лезвие хевсурского кинжала.

Он снова исследует осколки стекла. Потом, став спиной к разбитой балконной двери, мысленно представляет себе за домом местоположение купола церкви.

— Купол должен находиться на уровне второго этажа. Так. Проведем линию от двери к куполу, к основанию креста. Так. Линия проходит около чернильного пятна на стене — в аршине над полом. Так. Исследуем стену...

Теперь он прибегает к помощи лупы и... сразу же открывает в гладкой стене горизонтальную — шириной сантиметра в три — скважину. Скважина, несомненно, идет через всю стену наискось.

Иван хватает фуражку и летит в соседнюю квартиру.

Медная табличка:

АММОНИТ ПЛИОЦЕНОВИЧ ТРИЦЕРАТОПС

Готовит во все ВУЗы.

Все языки.

*Днем от 8 утра до 12-ти часов,
вечером от 5 до 8 часов вечера.*

— Черт, не знал, что со мной рядом такая птица живет!.. По-видимому, иностранец...

Звонит. Женщина с засученными рукавами, с подоткнутой юбкой. В одной руке — грязная тряпка, другой, растопыренной, при помощи большого пальца сомнительной чистоты приводит в порядок растрепавшиеся пряди волос.

— Вам чево́й-то?

— Мне бы,— говорит рабфаковец и читает по табличке: — Аммонита Плиоценовича... можно видеть?..

Женщина безмолвно сторонится, окидывает его с ног до головы любопытным взглядом спереди и потом, когда он проходит, то же проделывает с задним его фасадом. В довершение всего она бросает ему под ноги грязную тряпку и переходит на «ты»:

— Вот накось ноги вытри... Мою я полы-то сегодня...

Рабфаковец имеет уважение к чужому труду и беспрекословно повинуется.

— Посиди-ка здесь, — говорит женщина и скрывается во внутренних дверях.

Минуты через две выходит человек, — средних лет; лицо до глаз — покрыто колючей рыжей бородой, кругленький носик торчит чуждым элементом из щетины, глаза — беспокойные — глубоко запряваны в орбитах.

«Настоящая горилла»,— отмечает Иван про себя и представляется, принимая глуповатый, как у обывателя, вид:

— Ваш сосед, через стену живу...

Горилла издает нутряной гортанный звук, словно сам себе в глотку плюет, потом мурлыкает, как сытая пантера.

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Видите ли, — начинает рабфаковец робко и с запуганным видом, — я этой ночью, не знаю, как вы, был встревожен подземными толчками...

— Толчками?.. Продолжайте...

— Да, толчками... Вы не слышали разве?

— Продолжайте, продолжайте...

— У меня в квартире стена дала трещину и лопнуло стекло балконной двери.

— О?..

— Да-да... И мне хотелось бы для успокоения себя и всех жильцов проверить, насколько крепок наш общий дом. Выдержит ли он в случае повторения подземных ударов?..

— О?.. Которая стена у вас подкузьмила? — Горилла как будто начинает беспокоиться не на шутку. Иван с тем же обескураженным, робким видом зорко, исподтишка наблюдает за ним.

— Стена, смежная с вашей квартирой.

— О! Пойдемте — посмотрите...

— Ноги, ноги вытирайте... — доходит откуда-то озабоченный голос женщины.

— Вот ваша стена, — указывает горилла, вводя посетителя в зал.

Тот незаметно бросает взгляд через окно, вниз, на обескременный купол — купол находится саженях в пяти на уровне второго этажа, за ним через двор кособочится домик в три окошечка.

В стене — скважина, но рабфаковец не считает нужным сообщить о ней. Он начинает искать чего-то на полу.

...Мягко, по-кошачьи ступая, горилла вдруг скользит в соседнюю комнату и плотно притворяет за собой дверь.

Сыщик-любитель оставляет пол — он и здесь нашел, что искал, — становится самим собой. Говорит себе:

«Ванька, поведение орангутанга подозрительно, прими меры — не вляпаться бы...»

В соседней комнате — звонок телефона. Вызов придушенным голосом. Ничего не разберешь.

Не уступая хозяину в мягкости походки, Иван тоже скользит к двери, склоняется к замку ухом.

Через отверстие замка еле слышно, но слышно:

— Александр Петрович?.. Да-да, я, Трицератопс... Советский зверь напал на чей-то след... что?.. Мой сосед рабфаковец... у меня в квартире... Да-да... Чего-то ищет... Орудует лупой... Ну, всего... Что?.. Хорошо.

Рабфаковец снова на полу. При входе Трицератопса поднимается с улыбкой смущения:

— Извините, напрасно вас побеспокоил. Ничего не нашел... Очевидно, моя стена давно имела трещину, а я только сегодня ее заметил...

Горилла опять делает внутренний плевок и мурлычет:

— Ничего, ничего, пожалуйста... я очень рад услужить соседу. Однако, должен вас заверить: в Московской области землетрясений не бывает. Кроме того, я только что звонил на метеорологическую станцию, она никаких ударов в эту ночь не отметила...

«Знаю, на какую станцию ты звонил», — думает Иван, а говорит с дурашливым видом:

— Да?.. Неужели?.. Вы меня успокоили... Знаете, я так боюсь землетрясений... С тех пор, как пережил одно, в Туркестане... это ужасно...

С поклонами оставляет гориллу.

Во втором этаже живет Маруся, тов. Сеницына. Во всей квартире никого, кроме нее, не оказалось. Все разошлись, — кто на базар, кто куда. Сеницына зубрит: «Атомы, электроны и мировой эфир». Рабфаковец быстро осматривает комнаты, выходящие окнами на церковный двор. В средней, что под горилловской залой, замечает на потолке свежее углубление в виде узкой полоски сантиметра в три. Единственное окно в комнате разбито и заклеено бумагой. Линия, мысленно проведенная от трещины в потолке к изъяну в стекле, идет дальше поверх церковного купола и кончается в окне дьяконского домика...

— У твоей хозяйки есть бинокль? — спрашивает Иван затаившую дыхание Синицыну.

— Сейчас принесу...

Окно дьяконского домика настежь открыто. В бинокль, как на ладони...

Стол. На столе самовар — пыхтит, плюется. Сквозь кружевной занавес радостное солнце зайчиков пускает по белой скатерти, по сдобным пышкам. В кресле — дьякон шуруется, благодушествует: откусит пышки, сладким чаем с молоком запьет, в газетину устави́тся жующим ртом, брюшным смешком закатывается...

Иван разочарован... Маруся смеется:

— С ветряными мельницами борешься, борец со слухом?..

Насмешливый вопрос отскакивает от тяжелого, вперед выдвинутого подбородка, от стальной брони глаз, за которой бьется, оформляется упорная мысль.

— Случай?.. Да, может быть, случай. Надо все предусмотреть, надо и за гориллой и за дьяконом хорошо следить... Синицына! К тебе просьба: пока я кое-куда схожу, следи за дьяконским домиком, ладно?..

— Ладно, — говорит Синицына. — Контрик?..

— Хуже, может быть... — Он круто поворачивается и решительным шагом идет к выходу. На минутку забегает к себе. Берет револьвер, нож, круглое вогнутое зеркальце. Рассуждает так:

— Если «горилла» счел нужным немедленно сообщить обо мне по телефону, значит, дело серьезное, значит, за мной будет слежка. Если я в этом ошибаюсь, то имя мне не Иван Безменов, а растяпа.

Идет крупно-размашисто, не оглядывается, не оборачивается, но закутанное в платок и зажатое в кулаке зеркальце то и дело подносит к глазам, будто платком трет засорившийся глаз. Вогнутые стенки зеркальца забирают в себя все, что остается позади.

Через пару минут судорогой смеха дергаются скулы: сзади неотступно плетется подозрительная личность, одетая в серое...

Иван идет быстрее — личность ускоряет шаг. Иван останавливается, подтягивает сапог, — останавливается у витрин, у выставок и серая личность.

Угол. Поворот направо. Через пять домов — ГПУ. Иван прыгает в первую попавшуюся калитку и... натывается на человека.

— Вы кто?.. — спрашивает у него строго и одновременно показывает билет, где буквы «ГПУ» четко бросаются в глаза.

— Здешний житель-с... обыватель-с...

— Вот что, гражданин. Сейчас мимо пройдет человек, одетый в серое, спросит у вас про меня. Скажите ему, что я миновал ГПУ и повернул за угол. Хорошо?

— Д-да...

Обыватель вылезает на улицу, неверными руками пытается свернуть папироску. Иван — глазом в трещину ворот. В поле зрения появляется одетый в серое; это средних лет субъект, с широкой черной бородой, небрежно — под мужика — подстриженной. Беспокойный взгляд юлит по сторонам, задерживается на обывателе.

— Скажите, гражданин, не проходил ли здесь юноша высокого роста в сапогах и картузе?

— Д-да, он прошел...

— Куда он прошел, будьте любезны?..

— Он прошел мимо Чеки и повернул за угол...

— Направо или налево?

— Н-не знаю... он мне этого не сказал...

«Дурак! — стискивает зубы Иван, подавляя смех. — Вот он, проклятый случай!»

Чернобородый вонзает взгляд в несчастного обывателя:

— Он с вами беседовал?

— Д-да... то есть нет, нет!..

Иван выскакивает на улицу, левая рука на всякий случай в кармане, правая свободна, но напряжена:

— В чем дело, гражданин?.. Вы хотите меня видеть?

Чернобородый теряется только на одну секунду, во вторую — белый оскал зубов приятно сверкает на черном фоне бороды.

— А... Вы здесь?!.. Вот я поднял ваш бумажник, — вы обронили...

— Бумажник не мой, — строго говорит Иван, — я никогда не роняю своих вещей.

— Тогда извините, — бормочет чернобородый и поворачивает назад.

— Подождите, гражданин.

«Гражданин» резко оборачивается лицом, и... в руке — револьвер.

«Борец со случаем», не дожидаясь выстрела, валится на землю. Падая, не забывает могучим кулаком проехать по коленям противника...

Выстрел... Пуля обжигает спину... Одновременно чернобородый с контуженными суставами шлепается рядом. Пружиной развернувшийся, Иван мигом седлает его.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Начальник Секретно-Оперативной части ГПУ — Начсоч — товарищ Васильев, встречая Безменова, довольно потирает руки:

— Ну-ну, садись, друже, что новенького принес?

Безменов улыбается:

— Кажется, я напал на след крупного зверя.

— Ну-ну, рассказывай...

— Подожди. Сначала надо допросить этого, чернобородого...

— Пробовали, пробовали — отказывается отвечать...

— А что нашли при обыске?

— Почти ничего: пустой бумажник, совершенно новую записную книжку и револьвер.

— Все равно. Давай его сюда.

Васильев звонит:

— Приведите арестованного.

Пока исполняется это приказание, Безменов рассказывает о своих наблюдениях, но о дьяконском домике, о загадочных скважинах, о кресте ничего не говорит. Рано. Можно вляпаться в смешное.

— Как фамилия этой гориллы? — спрашивает Васильев.

Безменов достает записную книжку:

— Имя и фамилию натошак не выговоришь, я записал... Аммонит Плиоценович Трицератопс.

— Бывший эсер, — справляется Васильев в толстой книге, — состоит на подозрении, по профессии геолог и антиквар. 45-ти лет. Холост. Однажды был арестован, но выпущен за недостатком улик.

Вводят чернородого.

— Ваша фамилия, любезный гражданин? — спрашивает его Безменов.

— Я отвечать не буду.

— Но, может быть, вы скажете, какие мотивы заставили вас следить за мной?

Молчание. Лишь глаза горят ненавистью, более чем красноречивой.

Безменов подходит к нему вплотную, просит показать руки, внимательно рассматривает их, почти изучает. Смотрит одежду, скоблит ножом, нюхает — ходит кругом странно напряженный, с окаменевшим лицом, — лишь ноздри дрожат: можно подумать, что он ворожит или совершает гипнотические пассы. Каждая деталь одежды подвергается кропотливому осмотру, ощупыванию, изучению.

— Вы не курите? — спрашивает вдруг.

— Курю, — вздрагивает арестованный, бледнеет и заливается краской.

Безменов просит его открыть рот.

— Неправда, — говорит он через минуту. — Вы не курите.

К арестованному по индукции переходит напряженность Безменова, но напряженность другого сорта: страх, почти животный, мучительная боязнь быть разоблаченным. Этот мощный юноша, с серыми острыми глазами, с походкой эластичной и твердой, кажется ему сверхъестественным существом, демоном-чародеем, ищадием большевистского ада.

— Дай мне его карманные вещи, — говорит Безменов и вынимает лупу.

По очереди он изучает револьвер, бумажник и записную книжку. По его бесстрастному лицу трудно судить о результатах осмотра, но Васильев довольно потирает руки.

— Ну-ка, друже, ну-ка, — подзуживает он, — разоблачи-ка этого зверюгу...

— Зверюга небольшой, — вдруг отвечает Безменов, откладывая вещи и пряча лупу, — самый обыкновенный, рядовой работник. — Потом пронизывающий взгляд на «чернобородого»: — Не правда ли, гражданин В. Ф. Сидорин?

Волнение опознанного таково, что пот струйками начинает сбегать с его лица и трясутся ноги, как у паралитика.

Безменов перекидывается многозначительным взглядом с Начсочем, и тот записывает что-то.

— Скажите, Сидорин, — улыбается Безменов, — ваша переплетная, не правда ли, невелика? Вы еще не приобрели машины для обрезки книг?..

«Чернобородый» передергивается и лязгает зубами.

— Неправда, неправда! — наконец выкрикивает он. — Моя фамилия не Сидорин и никакой переплетной у меня нет!..

— Ну зачем бы я стал врать? — добродушно возражает Безменов. — Все ваши профессии у меня как на ладони. Скажу, например, что вы, должно быть, великолепно играете на рояле или на пианино... У вас что: рояль или пианино?..

— Неправда! Неправда! — хрипло бубнит Сидорин. — Ничего у меня нет!..

— Ну, это мы сами узнаем, — продолжает Безменов. — Да, вот еще: я убежден, например, что ваша переплетная работа является побочным занятием; скорей всего — шир-

мой, которую вы себе избрали для некоторых неблагоприятных целей; так сказать — подделка под рабочего человека, что?..

Сидорин тяжело дышит, затравленным зверем смотрит на дверь и на окна; в расширенных зрачках виден ужас.

— Между прочим, скажите, — продолжает мучитель с веселым участием в голосе, — вы скоро закончите свой литературный труд?.. Это, должно быть, мемуары о делах ваших и подвигах «доброе старого времени»? Не правда ли?..

— Ч-черт! Ч-черт!... — вылетает ненавистное из сдавленной глотки.

— У нас чертей не водится, — балагурит рабфаковец, — ищите их в святых храмах, мы постоянно их там разыскиваем... Вот еще что, гражданин Сидорин, никак не пойму одного: почему ваш брат Борис, к которому вы должны были попасть сегодня к 7-ми часам вечера (но не попадете), почему он имеет такое пристрастие к дорогим сигарам?

Сидорин шатается, бледнеет, чуть не падает. Его рот ловит воздух, ноги подгибаются.

— Уведите его, — говорит Безменов красноармейцам, а Васильеву: — и пошли к нему врача, я задал ему слишком жестокую встряску... Слабонервный господин... Ну, — поднимается он, — ты знаешь, конечно, что дальше делать? Что касается меня, то на заседание, которое у них будет в семь часов вечера, я не пойду. Скучно.. Вы их переловите там, как перепелок...

— Подожди, — Васильев звонит и отдает приказание пригласить всех свободных агентов. — Ты, друже, без обидяков, не боясь меня обидеть — я не из такихых — сообщи: какую бы программу действия ты сам предпринял. Я уж не спрашиваю о том, как ты обмозговал это дело... Ведь, вишь какими способностями тебя природа наградила...

— Что ж, — отвечает Безменов, — надо постараться узнать адрес этого В. Ф. Сидорина — произвести у него обыск, но это после — сначала узнать адрес «Б» (Бориса, что ли?) Сидорина и захватить там всех, кто сегодня соберется в 7 часов, ну и так далее. В этих вещах не мне тебя учить... Ну,

а Аммонита ты пока оставь: он рядом со мной живет — не убежит.

— Значит, ты не пойдешь?..

— У меня есть еще одно дело. Пока неопределившееся. И я прошу тебя дать сегодня к моей квартире, а лучше на церковный двор — знаешь, рядом? — двух или трех человек хороших агентов. Чтоб, когда совсем стемнеет, они уже были там....

— Ладно.

— Но предупреди их, чтобы прятались хорошо. Только на мой свист — чтоб отзывались... А если под ногами будут мешаться без толку, по шее наkostenялю...

— Ладно, ладно, — смеется Васильев, — смотри, самому как бы не наkostenяляли. Таких дам, что ползают, как змеи, а видят ночью лучше мартовских котов...

Один за другим входят четыре агента. Безменов хочет проститься, но Начсоч с лукавым лицом делает ему сюрприз:

— Подожди, друже, от меня так легко не отвертишься... Ну-ка, этим хлопцам прочти лекцию насчет своего дела. Как ты этого Сидорина опознал? Ну-ка, ну-ка! Это им наука!..

— Да чего там, — отказывается Безменов, — ерунда все это... Каждый мало-мальски наблюдательный человек сумеет сделать то же...

Но хлопцы усаживаются, а Васильев настаивает, и сыщику-любителю приходится выступить в роли преподавателя:

— Ну вот насчет того, что он рядовой работник: у него ботинки, видишь ли, здорово потрескались, ранты вымокли, да и все переда — тож, значит, приходится частенько быть под дождем, стоять, что ли, на слежке... Одежонка у него плохенькая, латаная — крупный зверь, выходя на охоту, оденется потеплей и поприличней. Может быть, у него даже на этот случай специальный костюмчик найдется... Одно к одному, ну и выходит, что он среди своих рядовой член...

Теперь насчет профессии и фамилии... Видишь ли, у него руки (правая, верней) показывают хорошее знакомство с ножом: мозоль через всю ладонь. Такие мозоли бывают или у сапожников, или у переплетчиков — у переплетчиков, когда они ручным путем обрезают книги; значит, небогатые переплетчики, переплетчики-одиночки, любители. Но у сапожников руки — всегда грязные, замаранные лаком, варом, лоском, а у этого чистенькие; значит, он не сапожник, а переплетчик — ведь переплетчикам то и дело приходится мыть руки, чтобы не залапать материала. Кроме того, на его брюках есть клейстерные пятна — еще один плюс... Теперь — к слову скажу — ежели он переплетчик, то уж, ясно, не будет отдавать своих книг на переплет другим, а сам переплетет; у него записная книжка, вишь, какая фансонистая... сразу видно: сам делал и для себя постарался. На переплете — клеймо, а в клейме — «В. Ф. Сидорин. Ясно?..

Хлопцы и Васильев дружным мычанием выражают свое одобрение.

— Ну вот. Я сказал ему, что переплетная — ширма, за которой он прячет свою настоящую физиономию. Почему я так сказал? А вот почему. Его руки, кроме упомянутой профессии, говорят еще о других, более интеллектуальных, что ли. Все десять пальцев у него сильно вытянуты; в особенности мизинцы и большие пальцы; и они, кроме того, когда он растопыривает руку, оказываются на одной прямой линии, это — особенность пианистов и притом таких, которые занимаются музыкой с детства. О том же говорит сильная уплощенность концевых фаланг его пальцев, что объясняется давлением, постоянно и издавна испытываемым ими со стороны клавиш. В скобках скажу, что наш герой знал некогда времена лучшие...

Теперь о его литературных занятиях. Мало того, что застарелые чернильные пятна на пальцах правой руки ярко свидетельствуют об этом, имеется еще одно, более тонкое показание — показание, которое открывается лишь при очень внимательном осмотре и сличении обеих рук. Все дело в указательных пальцах. У человека, много пишущего,

указательный палец правой руки всегда меньше и плоче своего собрата по левой руке. Опять здесь играет роль профессиональное давление, оказываемое на палец, которым придерживается ручка или карандаш. Вот, кажется, и все...

— Нет, друже, не все,— возражает Васильев, заглядывая в лист бумаги, лежащий перед ним. — Не сказал ты ничего о том, как узнал о наличии у этого субчика брата и о дне заседания...

— Ах, это... Смотрите: записная книжка. Совсем новенькая, клей еще не просох, и записано-то всего: «К 7-ми час. веч. у Б. Ф. С.» — без обозначения дня. Ему и записывать-то этого не нужно было, так бы запомнил. Но коли есть книжка — сами знаете — как удержаться? — он и записал... Скажем, книжку он переплел вчера вечером, ночью она у него сохла под прессом; утром он получил извещение (наверное, его вызвали для слежки за мной), одновременно ему дали приглашение на 7 часов вечера. А человек он, видно, рассеянный, как и полагается быть всем пишущим мемуары: день забыл пометить. День же, очевидно, сегодняшней: клей еще не вполне просох... Дальше. Нашего переплетчика инициалы: В. Ф. С., а в книжке: Б. Ф. С.— нетрудно догадаться, что фамилия и отчество — одни, и что, значит, заседание будет у брата нашего героя. Еще к тому же: наш герой не курит, об этом говорит то, что у него изо рта не пахнет табаком, зубы чистые, без желтого налета и внутри рта нет красноты, раздражения, которое бывает у курильщиков; а когда я его спросил о курении, он мне соврал, сказал, что курит, и при этом вздрогнул. Почему соврал и почему вздрогнул? Потому что догадался, что я не напрасно нюхал его одежду: от одежды несет ароматом дорогих сигар... Где же он мог так наароматиться?.. У ближнего человека, часто бывая у него вечерами. У какого ближнего?.. У брата, на которого указывают буквы в записной книжке. Видите, как все переплетается?.. И вздрогнул он потому, что боялся за брата, имя которого я произнес на арапа, но, кажется, не ошибся. Теперь все... Прощайте... Васильев, не забудь: когда стемнеет...

— Ладно, ладно, друже...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мистер Чарльз Уэсс от автомобиля отказался. О!.. Арбатская площадь — это так близко. И так приятно теперь пройтись по утренней прохладце... Нет, нет, господи, он дойдет; не беспокойтесь, право, дойдет... Кроме того, ему необходимо освежить голову. Ведь утром предстоит чрезвычайное заседание с господином, или, как его называют, — товарищем Чичериним... Нет, нет, не надо... Мистер Уэсс тронут российским радушием, но от автомобиля он категорически отказывается...

Краскупец Серегин остался обиженным в самых лучших своих чувствах. Еще бы! С середины ночи побеспокоился он об автомобиле для важного гостя. С каким шиком промчались бы они теперь по Тверской: он — красный купец г. Москвы — и член английской торговой делегации, мистер Чарльз Ричард Фредерик Уэсс... Правда, на Тверской в столь ранний час свидетелями торжества краскупца Серегина были бы весьма немногочисленные прохожие, но все-таки!.. Одним словом, обидел англичанин русского купца, жестоко обидел, — можно сказать, испортил ему все впечатление от шикарно проведенного вечера.

Но мистер Чарльз Уэсс, видимо, не чувствовал за собой никакой вины. Мистер Уэсс шел и улыбался. Улыбался своим мыслям, взбудораженным шампанским; ветерку, льнущему к горячему лбу; милиционерам — и спящим, и бодрствующим на постах... Всему улыбался мистер Уэсс в святом неведении относительно скверного самочувствия радушного хозяина.

Совсем немного, очень мало, нарушилось мотыльковое порхание мыслей уэссовских при воспоминании о разговоре на вечере, касавшемся проделок старого чудака — лорда Керзона.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... Little Керзон, нельзя же так часто беспокоить Россию всякими придирами. Вы очень мало думаете, dear lord, о своих соотечественниках, по вашим же за-

даниям находящихся в России... Если бы вы, *respectable lord*, были сегодня на моем месте, у купца Серегина, вы услышали бы очень маленькую, но очень неприятную — поверьте! — басню о слоне и москве... А ведь так и получается, *dear lord*, получается так, как говорится в басне... я забыл, как там говорится, но, в общем, верно, что Россия — большой слон, очень большой слон, который совсем не хочет воевать, как его ни щипли, как на него ни твякай, он хочет только торговать, только торговать... Да-да, *little sir* Керзон! Может быть, и мы станем торговать, только торговать? Клянусь богом, это во сто крат спокойней и, может быть, ближе к цели. Клянусь богом, уважаемый сэр, гораздо ближе к цели...

Мистер Уэсс решил, что он уговорил Керзона, старого чудака Керзона, и снова отдался мотыльковому порханию мыслей.

— Вот проснулись дворники... Тэ-тэ-тэ... дворники... Чудные в России дворники, лохматые и сердитые, и всегда с метлой, а улицы всегда сорные...

Вот висит плакатик. Свежий плакатик. Красивый плакатик... Любит Россия плакатики... Оригинальный плакатик... тэ-тэ-тэ-тэ... А зачем из аэроплана кулак торчит?.. Ульти-ма-тум... тэ-тэ-тэ... Ерунда, ерунда... Малоостроумно. Совсем не остроумно... Однако, *dear lord* Керзон, нам с вами надо подумать, крепко подумать насчет наших ультиматумов... О-о, как надо подумать.

К Арбатской площади м-р Уэсс подходил почти со свежей головой и с деловым настроением. Часы на площади показывали шесть.

— Два часа спать. Десять минут — ванна. Пять минут — туалет. Пятнадцать минут — завтрак, двадцать минут — приведение мыслей в порядок. К девяти на заседание, — распланировал м-р Уэсс время, очень довольный собой и существующим светом.

Но все его расписание разлетелось вдребезги по воле неожиданных обстоятельств. В витрине ювелирного магазина «Канцельсон и сын» было вырезано стекло — ровным

четырёхугольником, вырезано и аккуратненько поставлено внизу, под витриной.

У мистера Уэсса порхающий взгляд преобразился в ястребиный.

— Тэ-тэ-тэ... «Таинственный грабитель»... «Новое оружие взлома».

У мистера Уэсса родилась идея; она зрела уже давно.

— Чарльз Ричард Фредерик Уэсс, на вас смотрит Великая Британия!

Чарльз Уэсс зорко осмотрелся: прислонясь головой к мусорному ящику, мирно спал милиционер; больше — ни души.

В каждом англичанине живет по сыщичу, в мистере Уэссе их было два.

Мистер Уэсс тщательно осмотрел каждый сантиметр вырезанного стекла, не жалея брюк, исползал каждую пядь тротуара перед витриной... А слона заметил — лишь когда кончил осмотр, отряхнул брюки и выпрямился...

Это был кусок теста, скромно приютившийся в пыли, у самого плинтуса окна; с одной стороны, он обнаруживал хорошее знакомство со стеклом — был гладок и глянцевит, с другой — с пальцами любителя ювелирных драгоценностей: все пять пальцев оставили свой отпечаток на куске теста.

— Тэ-тэ-тэ! — сказал мистер Уэсс, осторожно извлекая из пыли *corpus delicti* и обдувая его.

— Тэ-тэ-тэ!! — с еще большим одушевлением повторил он, заметив на тесте след от перстня.

— О-о-о! — На тонкой полоске, вдавленной в тесто, выпукло рельефилась надпись.

Мистер Уэсс завернул обветрившийся кусок теста в бумагу и опустил в карман.

— Милиционер!

Ни звука.

— Милиционер!! Спит, ракалия..

Мистер Уэсс твердо решил разбудить блюстителя порядка, перешел улицу и еще раз в самое ухо крикнул... Результат тот же.

...Тонкая-тонкая струйка крови, как красная ниточка, через нос делила лицо милиционера на две части. Кровь — совсем свежая. На лбу — рубиновая капелька, от нее и начиналась струйка...

Мистер Уэсс вынул из кармана убитого свисток, через платок взял его в рот и резко свистнул три раза.

.

Расписание было составлено заново и опять чуть не разлетелось на куски.

— Ванна — десять минут. Крепкий кофе — пять минут. Переговоры с дворником — пять минут. В милицию к 7 часам. От половины восьмого до половины девятого — сон. К 9-ти на заседание. В 10 быть дома. В 11 лететь в Англию вместе с В. В. Ипостасиным. Закусить — между делом.

— Роберт!

— Есть, сэр...

Что-то надут сегодня Роберт сверх нормы; неряшлив и небрежен, как никогда: ливрея не застегнута на все пуговицы, и из-под жилета торчит клочок нижней рубашки.

— Роберт, приготовьте мне ванну и сварите крепкого кофе... Ну, что же вы, Роберт?.. Мне очень некогда...

Зажевал тонкие сухие губы молодой Роберт; длинные белесые ресницы опустил на глаза; и ресницы дрожат, и губы, и самому, видно, сильно не по себе.

— Я хотел... с вами... сэр... поговорить...

— Ну, говорите, Роберт... Но помните: мне очень некогда...

— Я, сэр... у вас... больше не служу...

Усмехнулся мистер Уэсс; недурно складываются обстоятельства. Заявление слуги не было неожиданностью; давно замечал, как прогрессировал Роберт в самоотравлении большевизмом.

— Хорошо, Роберт, я вас отпущу... Но вы ведь не откажетесь пробыть у меня до 11-ти утра этого дня?.. В одиннадцать я еду в Англию...

Вот уж никогда не ожидал Роберт столь быстрой и легкой развязки. Вспыхнул, просиял, уподобившись новенькому полтиннику.

— Хорошо, сэр!.. Спасибо, сэр!..— и опрометью кинулся в ванную.

— Что же вас толкнуло, Роберт, на столь серьезный шаг? — спросил мистер Уэсс, нежась в прохладной воде.

— Если вы, сэр... — зажевал Роберт тонкие губы, — будете улыбаться, сэр... я вам... не отвечу...

— Нет, нет, Роберт. Я улыбаюсь не над вопросом... Меня сильно располагает ко сну ванна, а спать мне никак нельзя. Вот над чем я улыбаюсь... Вы уж ответьте, пожалуйста...

— Я, сэр, понял, что коммунистическая партия, коммунистическая партия... Я, сэр, записался кандидатом в ячейку... и буду работать над собой...

— Но, Роберт, вы ведь не знаете русского языка — это во-первых, а во-вторых, коммунистическая партия есть и в Англии... с большим успехом вы могли бы записаться в ячейку у себя на родине!..

— Я здесь недолго пробуду, сэр... Я поработаю над собой, сэр... Язык мне не помеха... А в Англию мы еще приедем. Мы скоро приедем, сэр.

— О-о... — сказал мистер Уэсс, выпрыгивая из ванны. — Позовите ко мне дворника.

Дворник, конечно, не выспался. Был всклокочен, как раздравшаяся овчарка, глядел исподлобья. Но мистер Уэсс действовал по-английски:

— Вот вам, Степан, на расходы. Вы должны будете справиться в адресном столе о местожительстве В. В. Ипостасина... и отнесите ему это письмо.

— Ответ надо, что ль? — спросил Степан, хладнокровно пряча кредитку и письмо и поворачиваясь к выходу.

— Нет, ответа не надо... Только вы сейчас же поезжайте. Срочно нужно. Поняли?..

Дворник постоял у дверей — спиной к мистеру Уэссу, — потом повернулся.

— Понять-то понял, только... куда же я сейчас поеду? Сейчас, поди, только семьей час, а адресный открывается в девять?!..

— Годдэм! — выругался мистер Уэсс. — Что же делать?

— Если вам непременно нужен адресный стол, то не знаю...

— Тэ-тэ-тэ... Как нехорошо...

— А зачем вам адресный-то? — спросил дворник, почесывая в затылке.

— Как зачем?! Вот чудак, нужно же мне узнать адрес этого самого В. В. Ипостасина?..

— Василь Василича?.. Чего проще... Я знаю, где он живет. Это бывший дьякон у Полувия... У Никитских он живет...

.....

Дворник ушел. Мистер Уэсс долго смеялся, скаля крупные белые зубы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пыхтит самовар, плюется... Сквозь кружевной занавес радостное солнышко зайчиков пускает по белой скатерти. В воздухе пахнет сдобью: дьяконица Настасья пышек напекла к чаю.

— Мать, а мать, ну-ка?.. Ты б самовар-то приглушила, а то как бы не тово. — Пыхтит дьякон над «Известиями ВЦИКа». Никак не найдет отдела хроники.

— Чего ему? — просунула дьяконица в дверь красное от печки лицо. — Вон крышка-то, не видишь?..

Нашел дьякон хронику. Хитро сощурился весь, — благодует: откусит пышки, сладким чаем с молоком запьет, в хронику уставится жующим ртом. Во всей газетине только хронику да судебный отдел читает. «ЕЩЕ О ТАИНСТВЕННОМ ГРАБИТЕЛЕ» — интересно, черт!..

Залился дьякон благодутным рокотком... и вдруг откуда-то холодком на душу пахнуло...

— Ах да, милиционер!.. Чтоб его!.. Надо было ему заворочатся... Спал бы себе, дурень, дурень!..

Однако в комнате будто темнее стало. Или, может быть, это приглушенный самовар перестал плевать?.. Просунулась голова дьяконицы в дверь:

— Вась, а Вась! Спрашивают тебя там...

— Кто б это? Раненько что-то. Ну-ка?..

Письмо было весьма лаконично и не про всякого писано, но дьякон-то понял: стряслась беда... кто-то проник в тайну детрюита.

Забыл дьякон чай, забыл пышки, хронику... Даже свою фамилию забыл...

Побледнел и осунулся за одну минуту, будто в тифу три недели провалялся.

— М...мать... ну-ка?... мне ли это?..

Дьяконица — руками в тесте — конверт взяла и письмо. Взглянув на конверт, беспрекословно решила:

— Тебе!

Развернула письмо, и:

— Ах!..

«К 10 часам утра сего дня вы должны прийти на Арбатскую площадь, дом № 5, кв. члена английской делегации мистера Уэсса, дело идет о ювелирном магазине и о вашей жизни. Если не придете, все пропало.

Благожелатель».

— Милые, да что же это?.. — захныкала дьяконица, заметалась. — Иди, иди, Василий!!.. Слышь, иди! Сейчас же иди!.. О, господи! Пропала моя головушка...

Сбросила с себя браслет, перстень. Сережки трясущимися руками из ушей вынула, — об пол... Потом одумалась:

— Куда девать? О, господи!..

Подобрала с пола, зажала в кулак. Заметалась — куда девать?.. В спальню сунулась — под перину? Нет... В умывальник?

— Нет, нет, нет... О, господи...

На погреб побежала, побелевшими губами шепча бо-знать-что...

А у дьякона в животе заурчало, заныло, — скрючило, как от холеры... Понесся и дьякон куда-то, «Известиями» размахивая бестолково...

За полчаса до девяти сидел Василий Васильевич Ипостасин, он же — дьякон-расстрига, в приемной английского делегата.

Мистер Уэсс приехал ровно в десять. Кинул строгий взгляд на гостя. Спросил, ровно камнем о чугун лязгнул:

— Гражданин Ипостасин?

Вскочил дьякон:

— Так точно-с!..

Никогда на военной службе не был, а здесь:

— Так точно-с!..

Усмехнулся англичанин в рыжий, жесткий ус. Сразу понял, с кем дело имеет.

— Пожалуйста.

И с места в карьер:

— Английское правительство покупает у вас ваше изобретение и приглашает вас на постоянную службу... Ваши условия? — И опять жестко усмехнулся.

Вздумал было дьякон отпереться: и знать он ничего не знает, и ведать не ведает, и ни о каком изобретении даже не слыхивал... Ему вообще странно, что за письмо и т.д. и т.д. Англичанин сурово прослушал, глядя на часы... Как зо-

лотые, зачеканил, стал ронять полновесные слова, взглядом пронзая беспокойную правую руку дьякона.

— Положите ваши руки на колени... Так. Не вздумайте употребить сейчас своего смертоносного оружия. Я не милиционер... и вы так легко не отделаетесь.

Белее снега сделался дьякон.

— Весь материал: об ограблении ювелирного магазина, об убийстве и других ваших милых проделках — находится сейчас у нашего представителя. В случае моей внезапной смерти, этот материал будет немедленно вскрыт и пущен в дело... У вас один выход: согласиться на наши предложения и покинуть Россию. Если вы не дадите согласия или окажете — вот сейчас — сопротивление, рано или поздно вы пропали. Говорите ваши условия, пока я не предложил вам своих — категорических и окончательных.

Чеканная речь англичанина подействовала, как холодный душ. Дьякон пришел в себя; вскочил неистово:

— Это шантаж!.. Вы наговариваете на меня напраслину!.. У меня нет никакого изобретения! Я не знаю никаких милиционеров и ювелирных магазинов!.. В конце концов, — дайте доказательства!..

— До-ка-за-тель-ства? — протянул англичанин. — Это — другое дело. С этого нужно было начать. Они у меня есть, но я боюсь, что, завидев их, вы рискнете на неосторожный поступок... Даю голову на отсечение: ваше смертоносное оружие при вас. — И вдруг, конфиденциально склонившись, он добавил вкрадчиво: — Давайте-ка говорить спокойней и без фокусов...

— Давайте, давайте, ну-ка?..

Англичанин посмотрел на часы и заворковал совсем миролюбиво:

— Дайте мне, друг мой, слово, что, при виде доказательств, вы не станете делать попыток убить меня. Моя смерть равносильна вашей гибели... Дайте мне это слово...

— Даю, даю, ну... — прокричал дьякон и спохватился: — Да что вы?! Нет у меня никакого оружия!..

Англичанин сделал кислую мину:

— Я вас не понимаю, гражданин Ипостасин... Ну, хорошо, имейте в виду, что мои «доказательства» сфотографированы и занесены в общий материал. Это помните твердо...

Он подошел вплотную к дьякону — вполуборот, и, не спуская с лица его фосфоресцирующих, как у ночного хищника, глаз, медленно-медленно левой рукой стал вытягивать из кармана что-то, завернутое в бумагу.

Дьякон дрожал мелкой дрожью, то бледнел, то краснел...

Правой рукой англичанин развернул бумагу. У дьякона забарабанило неровно сердце, но он успокаивал себя:

«Что ж такое? Тесто, как тесто... Мало ли его на белом свете? Какое ж это доказательство?»

— Вот! — выдохнул вдруг англичанин и колючим взором просверлил дьякону череп. — Смотрите: здесь отпечаток вашего перстня с вашей фамилией...

Дьякон испустил дикий крик, однако в карман не успел слазить. Англичанин резко взмахнул правой рукой, и рука дьякона повисла плетью. То же произошло и с другой рукой. В карман его слазил сам англичанин и торжествующе извлек оттуда смертоносную палочку.

— Вы не знакомы с джиу-джитцей? Тэ-тэ-тэ... — насмешливо проговорил он, отходя на два шага и принимая элегантный вид. — Это японская борьба. Каждому политическому деятелю необходимо знать ее. Вы не политический деятель? Тэ-тэ-тэ... Ничего, ничего: руки ваши через десять минут будут действовать...

— Дьявол! Дьявол!.. — зарычал дьякон, в бешенстве бросаясь на обидчика головой. Тот слегка ударил его под ложечку... Дьякон задохнулся и упал в кресло.

— Роберт! Роберт!!

— Есть, сэр...

— Дайте русскому джентльмену воды и валериановых капель. С ним дурно.

— Слушаю, сэр...

...Мистер Уэсс что-то говорил. Дьякон ничего не понимал: на него напал столбняк. При помощи Роберта мистер Уэсс привел в порядок его растительность на голове и лице, переделал в ливрею и приготовил к путешествию под видом своего слуги. Настоящий же слуга смотрел на всю эту метаморфозу с большим недоумением, но ничего антикоммунистического не подозревал. Отпустив его, мистер Уэсс обратился к дьякону с короткой речью:

— Вас теперь зовут «Роберт Джонстон»... И вы больны: у вас парализована речь. Вы совсем не можете говорить. Понятно?..

От сильного нервного потрясения у дьякона — Роберта Джонстона — опять заболел живот. Да так заболел, что ливрею пришлось снимать... Мистер Уэсс был очень недоволен этой задержкой.

Все-таки через пять минут немой слуга сидел в авто и понемногу начал сознавать новое положение. Все полетело вверх тормашками... Пышки, чай с молоком, уютный домик в три окошечка, святой Полувий, зайчики на скатерти, дьяконица Настасья, плюющийся самовар... Ничего у дьякона не осталось. Ровным счетом — ничего. Даже палочку забрал противный рыжий англичанин с лошадиными зубами... А что впереди? Что впереди?.. Ой-ой-ой!.. Опять заныло в животе. Лучше не думать про будущее! Лучше не думать!.. Хуже, чем во сне, когда ноги свинцом налиты, а надо прыгать, потому что кругом — свирепые голодные псы...

Мистер Уэсс говорил, склонившись к самому уху и подпрыгивая на подушке. Машина гудела, глотала слова и окончания:

— Англ... купим... тайн... ваш... изобретен... Англ... нужн... много палоч... будете... ведывать... лаборатор... Двадц... тыс... фунт... гласны...

Дьякон китайским болванчиком бессмысленно кивал головой на все.

Последний разумный проблеск озарил его развороченное сознание, когда перед ним блеснула металлом шикарная кабина алюминиевого «Юнкерса». Бессознательно памятуя о запрещении разговаривать, замычал дьякон, как вол, огре-



тый кнутом. Вырваться хотел из рук мистера Уэсса и шофера...

Мистер Уэсс с соболезнующей гримасой что-то говорил — по-английски, притворно мягко называл:

— Роберт... Роберт...

А сам из бокового кармана детрюитную палочку показывал...

Затрещал мотор, закачалась кабина... У дьякона сердце ближе к ногам переместилось. Затошнило. В кишки ртути налили... фиолетовыми кругами, как на картинах рондистов, украсился белый свет. У пассажиров расплылись лица и пропал голос...

Как в воду нырнул...

Рванулся к окну в естественном позыве...

Мистер Уэсс крепко ухватил под локти, заставил сидеть. Лопотал что-то невероятное, но вразумительное...

Все-таки вырвался иа секунду и повис на чьих-то руках, мотая головой с пробором. Сорок сороков скособочились и сплющились далеко-далеко внизу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Председателем почти единогласно был избран пожизненный член тайного и высокоученого общества, носившего зашифрованное наименование (ГЛАВтпрука), distinguished Трилобит Силурович Лепидодендронов. На пост секретаря столь же единогласно собрание выдвинуло молодого сравнительно человека, лет 70-ти, не состоявшего пока ни в каких тайных и ученых обществах, Цератита Лессовича Неандераталова.

Молодой секретарь вооружился пером и бумагой, а председатель открыл собрание, первое слово предоставив самому себе.

— Милоштивные гошудари, — начал он, покашливая, как проглотившая муху кошка, и тускло поблескивая из-под голого черепа ввалившимися и выцветшими глазами.

— Милоштивные гошудари! Имея первое шлово, как предшедатель, я должен прежде вшего шообщить вам шледующшее... Переживаемый мной период жизни шопровождаетша... шопровождаетша вошштанием, так шкажать, органов и функций моего, так шкажать, органижма. Органижма, в швом ражвитии перевалившего, так шкажать, на второй десяток второго штолетия... В ожначенный период моей жижни, в полошти моего рта происходит, так шкажать, регенерация коштно-эмалевого вешщества, в прошторечшии именуемого жубами. Оных у меня прорежалось, так шкажать, уже два, што, принимая во внимание долголетнее отшутштвие у меня привычки к таковым, шлужит немалым препятштвием к моей речши... Ввиду этого обштоятьельштва, отнюдь не пришкорбного, речшь моя будет нешколько невнятна, ибо мне чшрежвычшайно трудно говорить, жа што я жаранее приношу перед многуважаемым шобранием швои глубокие ижвинения.

Председатель предупреждение это выпалил без малейших пауз, выражая пергаментным и морщинистым лицом своим идеальное равнодушие к слушателям, состоявшим из трех голых и трех убеленных седилами маститых черепов. Видимо, он говорил только для себя, да еще, может быть, для того человека, находившегося в противоположность всем в полном расцвете сил и имевшего орлиный нос, холодные прищуренные глаза и черную холеную бородку, который, отделившись от старцев, скромно, но твердо поместился у самой двери. Справедливости ради, надлежит отметить, что и собрание платило ему той же монетой: и убеленные, и голые черепа сидели вполне бесстрастными мумиями, жевали что-то иссохшими столетними губами и совершенно не слушали оратора. Человек у двери — единственный из всех похожий на человека, а не на мумию — был хозяин квартиры и инициатор собрания, Борис Федорович Сидорин. Он слушал, и слушал обоими ушами — одним речь оратора, другим внешние — за дверь — звуки.

— Милоштивные гошудари, — продолжал оратор, — цель нашостоящего шобраня жаключшаетша в объединении наших вышокоучшенных, но тайных по милошти ненавиштной нам вшем влашти, обшшештв, ижвештных вам: ГЛАВТПРУКИ, ГЛАВНУКИ и ГЛАВМУКИ, и в объединении тех научных шредштв для борьбы с большевиштшкой бандой, которые имеютша у каждого иж ждешь приштутштвующих, но которые не могли быть ошущештвлены до щих пор иж-жа отштутштвия материальных решуршов... Глубокоуважаемый Бориш Федоровиш предлагает нам швои решуршы и... и вот для этого мы ждешь шобралишь. Пользуяшь правом, предоштавленным мне как предшедателю, ошмелюшь ижложить тут же швои шобштвенные режультаты научшных ижышканий, направленных к чели, хорошо ижвештной вам...

Он остановился, выжидая мнения шобраня, но оно безмолвствовало. Тогда крякнул нетерпеливо Сидорин, и оратор, сочтя это за выражение мнения всего шобраня, нашел возможным продолжать речь, причем стал адресоваться исключительно к Сидорину.

— Я начшну, милоштивные гошудари, нешколко иждадека, штобы во вшей полноте охватить вопрош, подлежащий с вашего милошттивного ражрешения моей трактовке...

— На аргошшкой штадии ражвития жемли, при температуре не меньше двенадцати-тринадцати тышш градушов, когда, как вам ижвештно, никаких других элементов, кроме протоводорода и водорода, не шушештвовало... было это (он достал бумажку и прочитал) 2 миллиарда 345 миллионов 789 тышш 647 лет 2 дня 5 шашов и 45 минут тому нажад... Еще тогда, милоштивные гошудари, витал шреди рашкаленных гажов мой бешшмертный дух, наблюдая, ражмышляя и ижучшая жаконы Вшеленной, жаконы ражвития и жизни Вшеленной...

Он покашлял, посмотрел сердито из-под щитиков седых бровей на скрипевшее перо секретаря и продолжал:

— И ш тех пор, милоштивные гошудари, я, не перештавая, до шамого пошледнего дня, чаша и минуты, наблюдал, ражмышлял и ижучал... И ешли вшешильный гош-

подь шподобит меня прожить ешше нешkoľко дештьков лет, — в чем я не шомневаюшь, да, не шомневаюшь,— то плодами моего наблюдения, ражмышления и ижучшения явитшя труд, ожаглавленный: «хронош» — «эш» на конце — ширечь время, как челитель недугов телешных и душевных и как фактор ражвития по плошкшти четвертого ижмерения... Чератит Лешшович, я ваш вшепокорнейше прошу — перемените перо... шкрипит, как грешник на вертеле...

Чератит Лессович — секретарь — вспыхнул до маковки той своей горсточки волос, которая каким-то чудом, подобно оазису в знойной пустыне, уцелела на его бледно-розовом черепе. Вспыхнул и, трясушимися пальцами не попадая в лунку ручки, стал менять перо.

Председатель, не замечая все более и более разгоравшегося нетерпения хозяина, терпеливо ждал и между делом учтиво осведомился:

— Ваш братеч, уважаемый Бориш Федоровиш, ждоров?

— Здоров, благодарю вас... — буркнул Сидорин.

— Што ж это его не видно на шобрании?..

— Придет. Где-нибудь задержался... — Сидорина отсутствие брата беспокоило не из-за правил салонной вежливости, а из-за более основательных причин.

— Готово, Трилобит Силурович, — робко напомнил о себе молодой секретарь.

— ...кроме того, милоштивные гошудари, в ожначенном труде моем ярко, шмею думать, выражена мышль, — между прочшим, конечно, потому што, как шами ижволили видеть, тема моего труда гораждо более широкая, выражена мышль, что эволюционный прынчип ражвития, выдвинутый в науке... в науке... покойным гением... гением покойного... гениальным покойником... Бога ради, Чератит Лешшович, подождите, не жапишивайте: я жапутался, шами ижволите видеть... гением шкончавшегоша бежвременно учшеного Ламарка... теперь жапишивайте... и даровитым англишанином Дарвином ражработанный и подкрепленный неошпоримыми наблюдениями над природой... што

эволюционный прычпы ражвития одинаково приложим и к ражвитию в природе, и к ражвитию в общештве. Мой лужунг: «Natura et historia поп faciunt saltus» — што жнашит: «природа, а равно и иштория не делают шкачков»... Ишхо дя иж ожначенного прычпыша...

Красноречие оратора едва-едва только стало распускаться, а терпение Сидорина уже лопнуло.

— Трилобит Силурович,— сказал он, ничуть не желая смягчать резкости своего голоса, — имейте в виду, что за вами еще шесть ораторов... Когда это мы кончим?

Оратор смешался, залопотал что-то совсем невнятное и невразумительное, скомкал речь, но тем не менее еще добрых четверть часа играл терпением хозяина.

Его проект, направленный к уничтожению существующей в России власти, заключался в том, чтобы путем планомерной педагогической работы, сконцентрированной в руках объединенных обществ «ГЛАВТПРУКИ-НУКИ-МУКИ», воспитать подрастающее поколение России в духе «традиций доброго старого времени».

— Для этого потребуетша 3-4 года организационной работы, — сказал он в конце, — 3-4 года, в тешение которых объединенное общештво завербует в швои ряды вшех педагогов Рошшийшкой империи, шоответштвенно обрабатает их, инштруктирует, и 30 лет ошновой работы... ошновой работы, которые... Я кончил... — неожиданно оборвал он, заметив на лице Сидорина насмешливую гримаску. Впопыхах он забыл о своих выборных обязанностях и хотел оставить председательское место, но спохватился и остался.

— На очереди записан достопочтенный Силиций Каламитович Сепия, — сказал секретарь.

— Милошти прошу милоштивного гошударя Шепию, — повторил председатель.

— Сепия! — гаркнул потерявший терпение Сидорин.

— Я здесь. Чего вы кричите? — проблеял некий мумифицированный человек, обнаружившийся сзади всех. Своей иссохшей внешностью он, как две капли воды, походил на фараона Тутанхамона: коричневый сухой носик, коричневая кожа, вплотную обтянувшая кости лица, ко-

ричевые, прилипшие к черепу ушки, коричневые белки глаз... Даже сюртук был табачного цвета — сорта выше среднего; даже короткие желтые волосики, торчавшие на голове подобно первым всходам овса на пасхальном блюде, даже они имели грязно-желтый оттенок.

— Я хорошо слышу. Совсем не нужно кричать, — снова проблеял он и встал, немедленно оказавшись не человеком, а человецищем — в коричневых брючищах с непомерно длинными ногами и непомерно коротким туловищем, увенчанным крохотной головкой.

— Я хорошо слышу, — повторил он и презрительно с высоты своего ходульного роста окинул коричневыми глазами и спящую, и бодрствующую части аудитории.

— Здесь предшествующие мне ораторы, — начал он с тем же презрением, — говорили... Э... Э... Э... о вещах высокой материи, распространялись длинно и домогались крупных денежных сумм... Э... Э... Э... Я же скромнен в меру. Материя, подлежащая моей трактовке, не претендует на высокие качества. Речь моя будет краткой и сумма... Э... Э... Э... испрашиваемая мной, будет не выше 500 золотых рублей... Э... Э... Э...

Он переждал, ожидая возражений, и не дождался, потому что председатель хлопал отяжелевшими веками, борясь с непоборимой дремотой; вся аудитория пребывала в том же состоянии; секретарь, распластавшись по столу, как некое пресмыкающееся, старательно записывал, высунув язык, а Сидорин просто не считал нужным возражать, не желая затягивать и без того затянувшегося заседания.

— Тогда я перейду к фактической части моего доклада, — сказал оратор и снова остановился.

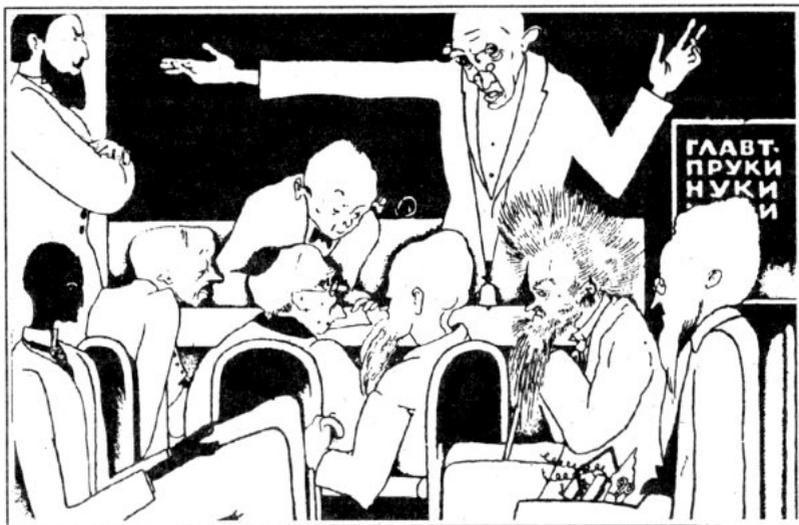
— Ну и переходите... — буркнул Сидорин, про себя подумав: «кажется, я скоро разгоню всю эту полоумную компанию...»

Неожиданно Сепия оставил свое место и, уподобившись двуногому пауку-сенокосу, шагнул к стулу Сидорина... Склонился над ним и, понизив голос, предложил:

— Купите у меня карту подземной Москвы!..

— На что она мне? — удивился Сидорин.

— Там точно обозначены подземходы из различных частей Москвы, как-то: из Замоскворечья под Москва-рекой, из Китай-города под Варварской башней, из Румянцевского музея под Моховой и пр., и все они ведут непосредственно в Кремль, в самое большевистское гнездо. Ну?..



У Сидорина алчно сверкнули глаза и затрепетали хищные ноздри; сделка быстро состоялась. Сепия вынул из бокового кармана сюртука вчетверо сложенный план Кремля с ближайшими окрестностями, Сидорин, просмотрев его, сунул в портфель и отдал 50 червонцев.

Секретарь, на полном ходу оборвавший протоколирование, недоуменно заерзал на стуле, не зная, как и чем кончить речь коричневого оратора, снова окаменевшего в ископаемой позе.

— Вы чего ждете? — спросил его Сидорин. — Давайте следующего...

— Но... речь?.. речь?..

— Запишите: «оратор внезапно почувствовал дурноту и отказался от слова». Записали?.. Ну, кто следующий?..

— Следующий записавшийся оратор — Гиппарийон Диасович Девонин,— провозгласил секретарь.

Девонина пришлось окликнуть три раза подряд, чтобы вывести из состояния, подобного каталепсии.

Это был тихий и робкий старец с длинной, желтой от времени бородой, с пучками волос, торчавшими из ушей, носа и чуть ли не из глаз и рта.

— Милостивые государи и милостивые государыни, — зашелестел он чуть слышно, с трудом поднявшись со стула, — я не намереваюсь долго задерживать вашего внимания. Видит бог, это мне не по силам... Я коротко изложу свой проект, остановившись только, совсем немного, на принципах, положенных в его основу...

После этого небольшого, но бодрящего вступления он дал короткий исторический обзор развития государственности на Руси, начиная от Рюрика, Синеуса и Трувора и кончая «безвременно погибшим тишайшим и всемилостивейшим государем нашим императором Николаем Александровичем II-ым, прозванным в народе великомучеником, иже смерть прияше из рук нечестивых поганцев — большевиков». За обзором последовал краткий перечень заслуг последнего царя из дома Романовых; за перечнем — небольшой очерк религиозно-нравственного содержания на тему о пришествии Антихриста и конце мира; за очерком — краткий разбор апокалипсического сказания и критика морозовского астрономического толкования на сей счет; за критикой...

...Председатель бесповоротно дремал, видимо, затратив на свою речь последние остатки жизненной энергии, отпущенной ему на день. Сидорин снова возвысил голос — и на этот раз для обуздания оратора.

Никак нельзя было ожидать от робкого мохнатого старичка того, что он предложил. А он предложил — ни мало ни много — взорвать, во-первых, Москву, во-вторых, Питер... в-третьих, четвертых, пятых, шестых и так далее... Взорвать все города, «в которых, как всему миру известно, сконцентрированы большевики — семя антихристово и нечистое».

— После этого, — говорил старичок, шамкая беззубым ртом, словно жуя неочищенную вату, и по мохнатой щеке пуская слезу умиления, — после этого народится новый Иоанн Калита — а может, он уже есть, — который займется мудрым и кропотливым собиранием и возрождением государства Российского под знаменем двуглавого орла и скипетром самодержавия...

— Мой тринитроэкстерминатор, — закончил он без всякого уже пафоса, — будучи закопан в центре большого города в количестве 0,03 и будучи подвергнут действию радиоволн, хотя бы с расстояния 5 000 верст, взрывает со страшной силой и до основания разрушает все... Можно заложить его в десятках крупнейших городов и произвести взрыв во всех местах одновременно при помощи одной электрической волны, самому находясь в это время на приличном и вполне безопасном расстоянии. Вот так-то, сударь вы мой!

Сидорину изложенный проект сильно пришелся по душе, и, видя, что мирный старичок приноравливается опуститься на стул, чтобы снова, может быть, окаменеть, он встряхнул его энергичным окриком:

— Позвольте, милостивый государь! Вы не привели никаких доказательств в возможности практического осуществления вашего проекта...

— Он уже осуществлен, — отвечал старичок, и, к изумлению секретаря и Сидорина — единственных лиц из всего собрания, не поддавшихся дремоте, извлек из объемистого кармана, вместе с десятком вещей хозяйственного обихода, как-то: с коробкой спичек, с плевательницей, носовым платком сомнительной чистоты, ножницами, плоскогубцами и тому подобным, — небольшой аппаратик, похожий на миниатюрный радиоприемник с четырехугольной проволочной антенной. Вещицы хозяйственного обихода опустились обратно в карман, остался один аппаратик.

— Я забыл, что взял его с собой, — виновато прошамкал старичок, — могу продемонстрировать вам его действие...

— Но... это не опасно? — усомнился Сидорин.

— Нисколько, — успокоил старичок, — здесь такая ничтожная доза, что произойдет только незначительная вспышка с легким треском — именно, с легким треском... У меня в запасе имеется еще некоторая небольшая доза, и... это все. Если вы, сударик мой, не пожалеете денег, то можно будет добыть в короткий срок необходимое вам количество тринитроэкстерминатора...

Старичок возился теперь с аппаратиком, свинчивая и развинчивая какие-то части его. Затем из второго кармана им была извлечена куча новых вещей, из которых пару 3-х дюймовых гвоздей, связку бечевы, стеариновую свечку, сломанный перочинный ножичек, огрызок сахара и два окурка сигары он отправил обратно, при этом слегка зардев — не то от смущения, не то от гордости, — а деревянную платформочку с двухвершковой мачтой-антенной и катушку Румкорфа с прерывателем оставил.

— Теперь, сударик мой, — сказал он, обращаясь к Сидорину, — возьмите вы этот взрыватель и отнесите его в самый отдаленный уголок зала... вон поставьте на окошечко, чтобы видно было... а я катушечку соединю проводом вот через этот ваш штепселечек.

Сидорин исполнил просьбу после некоторого внутреннего колебания:

— Черт его знает, этого мохнатика! Взорвет еще...

«Катушечка» Румкорфа долго не хотела работать, и старичок, обзывая ее ласковыми именами, пускал в ход плоскогубцы, ножницы, гвоздики. Сидорин с минуты на минуту все больше и больше терял терпение и, желая хоть как-нибудь использовать пропадающее время, спросил грубовато:

— Где добывается ваш экстравагинатор?

— Сударик мой, — возразил старец, — не экстравагинатор, а экстерминатор, не забудьте: тринитро впереди... А добывается он на Кавказе, в той местности, где некогда находилась древняя Колхида и куда отважные герои-аргонавты ездили, одержимые золотой горячкой... Вам известно, сударик мой, что добывание золота, по рассказам этих аргонавтов, было связано с опасностью. Золото будто бы ох-

ранял страшный дракон, наносивший смельчакам ранения и укусы?.. Этот дракон и есть мой экстерминаторчик, встречающийся на Кавказе вместе с золотом, и он любит кусаться... ой, как любит кусаться!.. Ведь по химическим своим свойствам он близок к радию и в таблице Менделеева рядышком стоит, занимая 87-ой порядковый номерочек... Радий же, известно ли вам, сударик вы мой, вызывает на теле человека и животных язвы и, кроме того, действует на нервную систему, обуславливая появление параличей...

..Казалось, от нетерпения Сидорина не осталось и следа: он жадно вслушивался в невнятную речь старца, боясь прервать его...

— ...И мой экстерминаторчик обладает такими же свойствами, только более интенсивно выраженными, будучи не изолированными свинцовой или эбонитовой оболочкой... Да, сударик мой! — Колхида, Колхида, а которое местечко — я вам скажу, когда мы с вами заключим договорчик... Ну, вот и готово.

Последнее его восклицание относилось к упрямой катушке, переставшей, наконец, капризничать.

— Станьте, сударик мой, так, чтобы вам видно было действие аппаратака. Я сию минуточку пошлю волну — будет треск и легкая вспышка, и больше ничего, потому что заряд незначителен...

Старичок лукаво прищурился, потрогал какой-то рычажок в прерывателе — и — в следующую секунду — багряное облако черного дыма появилось над взрывателем, раздался грохот, будто потолок обрушился, а присутствующие — спящие и бодрствующие — распластались на полу в самых причудливых позах, засыпанные известковым щебнем, стульями, картинами со стен и стеклами... Рама окна, у которого стоял аппаратик, сорвалась и с высоты шестого этажа рывкнула на мостовую.

— Довольно сильно! — успел молвить старичок и упал замертво.

Первым вскочил на ноги Сидорин — оглушенный и контуженный, он оказался первым и последним, так как все

остальные остались недвижимыми, за исключением живучего секретаря, в агонии дрыгавшего ногами. Единственная лампочка в потолке освещала картину страшного разрушения, но Сидорину не было времени подсчитать убытки и должным образом оценить положение, так как в зал внесся на всех парах запыхавшийся гориллообразный Аммонит Трицератопс, на бегу фистульно крича:

— Дом оцеплен чекистами! Дом оцеплен чекистами! Они уже идут сюда!..

При этих словах Сидорин могучим усилием воли стянул с себя оцепенелость, причиненную взрывом, заострил взор, соображая:

— Ошибся или не ошибся Аммонит? Не принял ли он взрыва за появление чекистов?.. Бежать или не бежать?..

Впрочем, он тут же решил бежать, услышав в коридоре шарканье многочисленных ног. И все-таки помедлил: может быть, то соседи, обеспокоенные взрывом?..

Только когда в дверях залы показалась фигура, вооруженная револьвером, хорошо знакомого ему чекиста Васильева, он в два прыжка очутился у выбитого окна, прыгнул на подоконник и с искаженным лицом ринулся головой вперед в ночную темь... За ним последовал горилла Аммонит... Но видно было, что для гориллы этот прыжок был последним в жизни; сразила ли его пуля на окне или он поскользнулся, только вместо грохота железа, который был произведен ногами благополучно перелетевшего узенькую улочку и очутившегося на крыше пятого этажа Сидорина, вместо этого через несколько секунд после прыжка Аммонита снизу донесся глухой удар тела о мостовую...

Васильев на бегу к окну сделал требуемые случаем распоряжения и также исчез в черном провале окна.

Пролетев в воздухе длину целого этажа, Сидорин не совсем удачно снизился на железную крышу. При падении он сильно ударился подбородком о собственные колени, — брызнула из носа кровь. Секунд десять потребовалось ему, чтобы прийти в себя. Он слышал катастрофический полет

Аммонита, слышал и громкие распоряжения Васильева, но не ожидал, что чекист последует за ним. Все-таки он успел опередить его шагов на пятнадцать, что в темноте ночи было большим преимуществом. Еще одно преимущество помогало ему в бегстве: хорошее знакомство с расположением соседних крыш. В то время, как он, легко лавируя между бесчисленными трубами, наверняка знал, куда бежать, преследователь должен был ориентироваться лишь по звуку продавливаемого железа...

...Но крыша кончается... Внизу сверкает яркими огнями улица; гудят трамваи и автомобили... «Не удерешь!» — думает Васильев, замечая обрисовавшуюся на фоне огня фигуру бандита... Сидорин на один миг задерживается в нерешительности на самом краю крыши, но только на один миг... в следующий — его тело судорожным рывком отделяется от твердой почвы, мелькает в воздухе посреди улицы с раскинутыми широко руками и пропадает... В стук экипажей, в звонки трамваев, в гудки сирен вклинивается вдруг характерный звук падения на листовое железо... Это Сидорин с пятого этажа через всю улицу перенесся на крышу противоположного двухэтажного дома...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В то же самое время, когда Васильев проворонил одну птицу, его друг Безменов — «борец со случаем» — проворонил другую. У обоих были смягчающие вину обстоятельства: первый слишком поздно узнал адрес вечернего заседания, второй несвоевременно напал на след.

— Синицына, — сказал Безменов, входя в комнату рабфаковки, когда вечерние сумерки уже достаточно заботливо укрыли землю, — если меня почему-либо ты завтра не найдешь на квартире (меня или записки, оставленной от

моего имени), немедленно о сей таинственной пропаже извести, кого следует. Ладно?

— Ладно, — усмехнулась рабфаковка, привыкшая к странностям своего друга. — Но куда это ты собираешься пропасть? И почему как раз накануне экзаменов? В высшей степени подозрительно...

— Я не собираюсь, — серьезно отвечал рабфаковец, — но пропасть могу, и, если бы у меня не сидели на носу экзамены, не было бы и этой моей тревоги...

— Ну, пропадай, — благословила Синицына, — и пропадай поскорее, потому что мешаешь заниматься: проклятая «физика» скоро меня съест.

Ночная темнота расползлась густо и окончательно укутала землю; этому способствовал сплошной облачный покров, создавший род навеса над уснувшим миром.

Безменов вышел на двор.

— Ничего себе ночка, — подумал он, извлекая из кобуры револьвер.

Его — не сказать, чтобы приятно — изумило отсутствие света в окне «гориллы» Трицератопса: обыкновенно ученый археолог занимался до 2-3 часов ночи.

— Примем во внимание...

Стараясь как можно мягче ступать, с мышцами, напряженными и готовыми каждую секунду бросить тело в ту или другую сторону, смотря по обстоятельствам, он приблизился к забору, граничившему с церковным двором.

Заметил ли он, что за ним на расстоянии 10-ти шагов бесшумно и неотступно следовала массивная фигура? И заметила ли эта фигура, что за ней, в свою очередь, двигался юркий силуэт?

Безменов перемахнул через забор; минуты через две туда же переползла массивная фигура; и еще через минуту на тот же забор вспорхнула юркая фигурка. Все действовало так идеально чисто, что никаких лишних звуков, кроме ускорившейся пульсации сердца, и то слышной только для собственников сердец, никаких других звуков не было.

Безменов осмотрелся и прислушался. Тихо, как в материнской утробе. Домик дьяконский спит, сторожихин —

безмолвствует: может, сторожика бродит где-нибудь поблизости... Не напороться бы на нее...

Он крадется к среднему окну домика. Окно на ставнях, ставни заперты изнутри. Подергал — никакого толку. Шума производить не годится, — к крайнему левому...

Удача!.. Болты даже не выдвинуты в щели. Ставни прикрыты, это — пустяки. «Борец со случаем» вынимает из кармана пузырек с маслом и обильно уснащает им при помощи кисточки петли ставень, приносит жертву невежественному случаю. Случай, мудро предусмотренный, скрывается со стыдом — и ставни распахиваются без малейшего шума... Стекла в окне выбиты: через окно веет нежилым запахом. Безменов смело забирается в комнату и оглядывается назад, на двор...

Померещилось?.. Конечно, померещилось!.. Не может быть, чтобы это была живая тень!.. Глаза расширяются, понижают мглу насквозь, но, кроме вполне неподвижных очертаний надгробного памятника, ничего подозрительно не замечают.

— Впрочем, это мог быть не в меру старательный чекист, — успокаивает себя Безменов, не слишком-то доверяя обманчивой мгле. Он закрывает за собой ставни и еще завешивает их снятой с себя рубашкой.

— Как у себя дома, — усмехается в пробивающуюся бороду.

Еще прислушался: все в порядке. Где-то, — должно быть, через комнату, — тикают часы. Засветил электрический фонарик — в комнате следы недавнего разрушения, следы взрыва: щепы, обломки, куски штукатурки. В угол замечено битое стекло от химических приборов. В полу — дырка. Прожженная. В стене другая, того же происхождения.

Ест глазами Безменов каждую мелочь, запоминает малейшую деталь. «Дома переварю», — думает.

— Что ж, идти дальше?.. Надо идти. Этого мало. Хорошо бы побеседовать с самим дьяконом. Назваться его доброжелателем, что ли? — мелькает соображение.

Налег плечом на дверь. Прикрыта плотно. По опыту знает: двери надо открывать сразу, резко — тогда не скрипят.

Налег еще раз. Дверь, немного посопротивлявшись, действительно, поддалась без скрипа, но она, оказывается, была замкнута на щеколду, и щеколда сорвалась с гвоздем вместе. Упала с дьявольским стуком...

— Скрыться или не скрыться? — секунду размышляет ночной визитер. — Лучше скрыться, а впрочем...

Шлепающие звуки босых ног; приближаются к нему.

— Это ты, Ваня? — сонный, но несколько не испуганный женский голос.

— Вот-те клюква! — изумился визитер. — Меня здесь знают. Или совпадение?

Нажимает кнопку фонаря.

На пороге в лучах яркого света щурится дебелая женщина в откровенно ночном костюме.

— Брось дурить, Ванька, — ворчит ласково, как сытая кошка. — Почему вчера не пришел в сад?..

— Видите ли...— начинает Иван Безменов.

При звуке чужого голоса женщина вздрагивает, но пугается, нужно отдать ей справедливость, очень мало.

— Видите ли, — продолжает Иван, в забывчивости не опуская фонаря, — я не тот, за кого вы меня принимаете... Я его товарищ...

— Солянин? — спрашивает дьяконица, приятно изумившись, и, не давая ответить, тащит Ивана за руку. — Потуши, бесстыдник, фонарь-то... Идем в горницу; холодно здесь...

«Вот тебе приключение!» — хохочет в душе «бесстыдник».

Дьяконица протащила Ивана через темный зал — в спальню. Зажгла керосиновую лампу и, пока та разгоралась, сама скрылась под одеялом.

— О, да ты славный парнишка! — через минуту восклицает она, хихикая.— Я где-то встречала тебя. Ты не живешь ли на соседнем дворе?..

«Положение пиковое», — думает Иван, теряясь от неожиданности.

— Это хорошо, что ты пришел... А как тебя зовут?.. Иван? Хи-хи-хи... тоже Иван?.. Хорошо, Ваня, что ты пришел: страсть как не люблю, когда в доме ни одного мужчины...

— Как ни одного?.. А дьякон где? — ловит Иван момент, чтобы начать атаку.

— Дьякон?.. Дьякон пропал. Пошел среди дня, и вот до сих пор нету... хи-хи-хи-хи... Да ты не бойсь, он не придет... А если придет, я тебя через окошечко выпущу... хи-хи-хи... Ведь он у меня косолапый: пока будет ворочаться в сенцах, ты уже домой три раза успеешь прибежать... хи-хи-хи...

С одной стороны — хорошо, что из уст дьяконицы бьет непрерывный словесный фонтан: это позволяет обдумать положение; с другой — плохо: своим фонтаном она не дает возможности повести наступление. Впрочем, Иван быстро справляется, извлекая из брошенных расточительно слов то, что ему нужно.

Дьяконица, между прочим, выбрасывает:

— А ты кто же будешь? Где служишь? — и, не останавливаясь, катится дальше.

— Я студент, — вклинивает Иван свой ответ, — на изобретателя учусь...

Насчет изобретателя он, что называется, залил — закинул удочку и с удовольствием увидел, что рыба клюнула.

— На изобретателя?! Хи-хи-хи... У нас здесь один изобретатель жил — Митька Востров... Изобретал — изобретал...

Дьяконица вдруг упирается лбом в стену — обрывает.

— Ну и что же? — с нарочитым равнодушием подхватывает Иван. — Изобретал, изобретал — и?

— ...и угодил на Канатчикову... — тихо кончает дьяконица.

Вполне естественно поинтересоваться:

— Почему же это он угодил?..

— Та-ак, — мямлит дьяконица, внезапно оробевшая и притихшая.

Иван запоминает: Митька Востров — изобретатель — жил у дьякона, сейчас сидит в доме умалишенных.

Можно было бы теперь же пораскинуть мозгами, но незначительный предмет — мятая бумажка на полу у кровати — приковывает внимание рабфаковца.

Дьяконица быстро оправляется и снова брызжет обильным фонтаном. Делая вид внимательно слушающего, Иван,

будто нечаянно, роняет со стола платяную щетку и нагибается вслед за ней... Быстрый взгляд под кровать — семь пар туфель, — ого, по-богатому!.. Взгляд на бумажку:

«К 10-ти часам утра вы должны прийти на Арбатскую площадь... Квартира члена английской делегации... и т.д.

Благожелатель».

— Точка, — говорит себе Безменов. — Все ясно. Надо кончать визит...

Он вскакивает со стула и, напуская на лицо «тихий ужас», к чему-то прислушивается.

— Подождите, — говорит отрывисто-сдавленно. — Слушайте... — и, будто окончательно перетрусив, тушит лампу.

В крошечной тьме обостряется болезненно слух — кому это не известно? И чудится дяконице: что-то массивное, будто медведь, лезет в окно, где Митька жил.

— Ой-ой, голубчики, — медведь!.. — шепчет она, натягивая на себя одеяло с головой. И из-под одеяла:

— Ой, голубчики, что же будет?

Иван с угрожающим видом вылетает из комнаты... Дьяконица за ним на крючок, на засов, на ключ дверь приперла... Комод придвинула...

Конечно, в Митькиной лаборатории — ни души. Иван это знал заранее. Его слух не подвержен болезненному обострению: холодные обливания по утрам — лучшее средство от нервности. Но, чтобы поддержать иллюзию ворвавшегося медведя, он невероятный шум поднимает среди склянок, щеп и битой посуды.

.

— Хватит, — говорит, запыхавшись, — дело сделано, — и добавляет с досадой: — А дякона-то проворонил!..

Рубашка висит на месте, ставни — тоже на месте. На дворе, по-прежнему, тишь и темь. Откуда-то затухшие выстрелы доносятся.

— Не Васильев ли орудует? — приходит в голову. — Он-то не проворонит.

У надгробного памятника сразу окаменевают: через весь двор к церкви на рысях проносится рослая тень.

— Гм... Если это грабить церковь, то пускай себе... А если мои агенты, нужно отпустить их... Свистнуть, что ли?..

И решает, на всякий случай, обождать со свистом. Успеет. Надо убедиться.

Согнувшись в три погибели, крадется к церкви. Церковь недавно побелена — 12-го мая день святого лодыря Полувия — белые стены лучше, чем все другие предметы, вылавливают из чернильной мглы остатки света и отражают их обратно в чернильную же мглу. Прижиматься к церковной стене, как это делает неизвестная фигура, более чем глупо.

Иван крадется по земле к глупой фигуре. Заметила ли она его или нет, но только двинулась и сама — опять-таки вдоль стены.

— Идиотизм,— неодобрительно отзывается рабфаковец по ее адресу. — Это или абсолютное незнакомство с физикой, или вообще дурость... Впрочем, может быть и третье: желание привлечь к себе хотя бы меня...

Фигура, дойдя до угла церкви, оторвалась, наконец, от стены и, совсем не желая быть невидимкой, храбро зашагала во весь рост по направлению к белому пятну — к плите над «почившим в бозе в 1828 году протоиереем Пафнутием Хлеборастыкиным».

И опять — что за странность? — ее, как летучую мышь, влечет к себе белый цвет... фигура ляпнулась пластом на белую плиту и замерла неподвижно.

Иван тоже замер:

— Черт ее! Может, сумасшедший Митька вернулся?..

Минута. Другая. Третья... Рабфаковец решает приблизиться, насколько можно... Ползет по росистому газону, и вдруг...

...плита колыхнулась — стала торчком — фигура скользнула по ней — в подземный склеп... Затем плита снова стала на место...

— Экая я ворона! — вслух бранится Иван и с чувством одураченного подходит к загадочной плите, проглотившей загадочного человека.

Плита как плита. Не в первый раз он ее видит. О том, что на ней все-таки покоилось живое тело, а не плод разывающегося в темноте зрения, говорит ее относительная теплота.

Рабфаковец прижимает ухо к полированной поверхности: ни звука, мертвая, как и полагается ей быть в склепе, тишина... Шарит руками вокруг, лежа на плите: может, рычачок какой найдется, какая-нибудь зацепка?.. Ни черта! Ни одного гвоздя, что называется!..

Вдруг, резко, как и в первый раз, без всякого предупреждения, плита переворачивается... Иван, обрывая ногти, летит вниз, головой вперед...

Он падает на вытянутые руки и все же больно ударяется головой и спиной, в тот же миг два тяжелых тела наваливаются на него — прижимают лопатками к земле... Иван от удара оглушен, — трещит голова, ломит позвоночник. Крикнуть он не успевает, так как его голова моментально закутывается чем-то жестким, пыльным и вонючим, — очевидно, грязным мешком; закутывается туго, добросовестно.

«Кажется, на экзамен я не попаду», — проносится в его смятенной голове. Затем он вырывает правую руку, на которую уже накинута веревка, и, несмотря на то, что действует наугад, наносит ею верный и крепкий удар в нижнюю часть лица одного из противников. Сразу становится легче — четыре пуда с груди долой.

В планы противников, очевидно, не входит убийство рабфаковца: они стараются только обезвредить его, глуша кулаками нещадно. Иван это соображает, неожиданно делает мост, хотя трещит спина, и угрем выскальзывает на поверхность двух тел. Те — сослепу — добрые полминуты усердно тузят друг друга, потом понимают ошибку и снова

набрасываются на рабфаковца, который, отчасти освободившись от грязной тряпки, стоит, прижавшись к стене и выставив правую руку для защиты лица. Он осторожен и хладнокровен. Противники же горячатся и мешают друг другу; большая часть их ударов сыплется в стену... Но вот один из них ловит рабфаковца за голову и, пренебрегая его ударами, оттаскивает от стены; второй сзади сжимает его вокруг пояса.

— Веревку, найди веревку, — хрипит он. — Я его крепко держу...

Первый бандит, доверившись товарищу, выпускает из рук голову, а Иван, поймав через плечо голову второго бандита, швыряет его через себя. Тело падает с глухим хрястом...

В темноте не поймешь, что творится. Рабфаковец только что сунул руку за револьвером, как в воздухе свистнула веревка, хлестко обвив его вокруг шеи. Потом — толчок вперед, и он падает полузадушенный.

В нравоучительных романах спасение всегда является вовремя и непременно сверху, — по крайней мере, ниспосылаясь с небес. Настоящее повествование слишком далеко от мысли нравоучать и обходится без небесных сфер, но, тем не менее, и здесь спасительная рука явилась сверху — из дыры, которую молодчики впопыхах забыли прикрыть, и явилось очень кстати. Оно не могло не явиться, так как вытекало из законов исторической необходимости. Не могло не явиться, так как рабфаковка Синицына следовала за «борцом со случаем», начиная от его квартиры.

Сноп яркого света, ослепивший обе стороны, и мужественный женский голос, отчеканивший слова:

— Контрики, руки вверх, а то стреляю!..

И, действительно, щелкнул взведенный курок.

Контрики — здоровенные мужики из лабазного ряда — с глупыми рожами, не медля ни одного момента, повиновались.

— Вставай, Безменов! — снова scomандовал голос, и Безменов встал — сильно помятый и немного сконфуженный. Одной рукой он сорвал с лица тряпку, затем выхватил ре-

вольвер и после этого лишь освободил от веревки шею; другую руку он приложил к губам...

Из склепа вырвался пронзительный свист. Через пару минут примчались чекисты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Торжественно извлеченные из склепа и хорошо спеленутые веревками «контрики» в сопровождении двух конвоиров-чекистов были отправлены на хранение. Третий агент остался около плиты на страже, так как рабфаковцы решили исследовать подземелье.

Непосредственно под плитой оно имело в глубину аршина три и представляло собой четырехугольный погреб, вместимостью достаточный для того, чтобы в нем свободно могли подраться трое коренастых мужчин. С трех сторон его ограничивали стены каменной кладки, с четвертой имелось отверстие в узкий и длинный ход, с небольшой наклоном спускавшийся вниз.

— Ну, как чувствуешь себя, «борец со случаем»? — смеялась Синицына, идя рядом с Иваном, который все время крутил шей.

— Черт тебя знает, — искренне восхитился тот, — откуда только ты появилась?..

— Ха-ха-ха!.. Следуя твоему принципу, решила предусмотреть случай и, как видишь, здорово накрыла его... А что с твоей шей?..

Вместо ответа Иван, осветив свое лицо, приложил палец к губам в знак молчания, и таким порядком они дошли до того места, где ход раздваивался под острым углом. Здесь поневоле пришлось остановиться.

— Мы прошли под Большой Никитской, — прошептал Иван на ухо спутнице, — пересекли Малую Никитскую и теперь, если только я не потерял своей способности ориен-

тироваться, находимся под Гранатным переулком. Правый рукав хода, по-моему, идет в направлении, перпендикулярном к Спиридоновке, левый, если я не ошибаюсь, метит на угол Спиридоновки и Георгиевской... А вот куда нам метить — неизвестно...

В таких делах Сеницына всецело полагалась на опытность своего друга, почему и не сочла нужным подать какой-либо реплики.

— Вот что, — предложил тогда Иван, — ты иди направо, а я налево, или, как хочешь — можно наоборот...

Обыкновенно молчание является знаком согласия, но Рабфаковец, вопреки смыслу мудрой пословицы, решил, что Сеницына на этот раз промолчала потому, что была несогласна.

— Ну, ладно, — быстро уступил он, вспомнив, что существует еще его наблюдательность и возможность в связи с этим третьего исхода. Прожектор фонаря он направил себе под ноги. Прямохонько им навстречу шли по пыльной дорожке две пары следов, шли из левого хода. Правый хранил в девственной чистоте пыльную пелену невинности.

— Ну, сугубая осторожность, — предупредил Иван, — иди сзади....

Теперь они подвигались вперед, тщательно осматривая пол, потолок и стены.

Гранитный переулок скоро остался позади. Они уже находились под тем треугольником зданий, который выходит ломаной гипотенузой на Спиридоновку, а двумя катетами на Гранатный и Георгиевскую. Иван внезапно остановился, даже несколько попятился. Сеницына, влетев носом в широкую спину, пустила из глаз сначала искры, потом двести слезинки... Рабфаковец погасил фонарь.

— Ни одного сантиметра, — прошептал он, — замри...

Только по прошествии неопределенного количества времени Сеницына услышала то, к чему ее товарищ прислушивался: заглушенное расстоянием бурчание голосов впереди.

— Дальше ты не пойдешь, — категорически прошептал Иван. — Нужна дьявольская осторожность, а твоя юбка... —

он не кончил, потому что решил, что достаточно и сказанного.

Когда Сеницына безмолвно, но горячо запротестовала, он на мгновение открыл свет и показал в полуаршине от себя тонкую черную нитку, тянущуюся поперек хода на уровне колен.

— Я перелезу, — умоляюще прошептала Сеницына.

— Ты не перелезешь, — безапелляционно возразил Иван.

— Тогда я подлезу...

— И не подлезешь...

Он пустил сноп лучей на опасное место и, как кенгуру, ловко перескочил нитку.

— Сиди и жди, — последовал затем совет, — без моего сигнала не являйся...

Сеницына осталась одинокой в жуткой тьме.

Изредка пользуясь фонарем, Иван крался по коридору, все более и более принимавшему форму узкой расщелины. Он опасался новой нитки или какого иного сигнального прибора, ведущего в помещение разговаривающих. И опасался не напрасно. Вторая нитка, натянутая на уровне носа, попала шаг через двадцать... Отсюда разговор принимал уже более материальную слышимость. А спустя две минуты можно было остановиться.

— Вы счастливо отделались! — произнес с восхищением, как показалось рабфаковцу, дурашливо-тонкий голос.

— Было очень трудно, но не настолько, чтобы задерживать меня, — отвечал презрительно стальной голос.

— И подумать только! — воскликнул третий голос, принадлежавший, судя по тембру его, некоему мечтателю. — И подумать только: с шестого этажа на пятый, с пятого через всю улицу на второй, а отсюда прямо в автомобиль... Вы, Борис Федорович, вы... в восторг меня приводите. Вы... мне гораздо более нравитесь, чем шоколад фабрики Миньон, который... по чести говоря, я обожаю... именно обожаю... А вас, Борис Федорович, я, прямо-таки, по чести говоря... боготворю...

— Глупости... — пробурчал глухо четвертый голос. — Глупости говорите, милейший... К делу нужно. К делу...

— Да! — подхватил стальной голос. — Приступим к делу!..

«К делу, так к делу», — молчаливо отозвался рабфаковец, делая еще несколько шагов вперед, и уперся в холодный металл плиты, отгораживающей неизвестных от коридора. Плита была приперта изнутри, — когда рабфаковец с револьвером наготове осторожно налег на нее, она не поддалась.

— Дела обстоят не скажу, что блестяще, — начал тот, кто имел стальной голос и которого назвали Борисом Федоровичем. — Брат мой, посланный мной утром на слежку, не знаю, каким порядком, попал в Чеку. Трицератопс разбился насмерть, неудачно прыгнув. Я еле передвигаю ноги... Квартира моя занята чекистами... Всю эту мерзость создал нам известный вам рабфаковец...

«Позвольте представиться», — смеялся в душе Безменов, хорошо понимая, про кого они говорят.

— ...Сегодня он доживает свои последние часы... — продолжал Борис Федорович. — Мы очень удачно собрались: с минуты на минуту его должны сюда привести... Он этой ночью собирался навестить дьякона, которого у нас из-под носа выкрал англичанин. Я послал для поимки его двух надежных молодцов...

«...Сидят благополучно у Васильева», — опять сделал свою ремарку рабфаковец.

— ...Наша очередная задача: освободить из Чеки брата; он нам остро нужен... Это я поручаю вам, Николай Филимонович...

— Очень хорошо. Я это сделаю, — угодливо отозвался голос мечтателя.

— Затем... С вами, Аполлон Игоревич, завтра в восемь часов утра мы должны будем навестить психиатрическую клинику, что на Девичьем поле...

— Мы непременно навестим ее, — быстро согласился тот голос, что перед этим оборвал мечтателя.

— Цель нашего визита: изъять из клиники настоящего изобретателя детрюита, — так называет дьякон свое смертоносное оружие...

— О!.. о!.. о!..

— Да. Дьякон — не изобретатель, это я узнал сегодня перед собранием. Изобретатель — Востров... Вы, Аполлон Игоревич, приготовьте к 8-ми часам утра документы на имя какого-нибудь родственника изобретателя. Запишите его имя-отчество: Дмитрий Ипполитович... Вы назоветесь родственником Вострова, — ну, братом, что ли, — и возьмете его на домашнее лечение... Я думаю, этот номер пройдет..

— Пройдет, непременно пройдет...

— ...Сообщу вам, что мне удалось экстрактировать из собрания мумий. Прежде всего, я очень дешево — за 150 червонцев — приобрел точную и подробную карту подземной Москвы; главным образом, Кремля...

— О! о!.. Покажите...

— Вот она! Осторожней... Поручаю вам, Савва Никодимыч, эту карту для немедленного использования... Динамит у нас есть, действуйте...

— О, я буду хорошо действовать, — пропищал дурашливо-тонкий голос, повергаясь в телячий восторг.

«Дружная семейка», — отметил сурово рабфаковец, ущемляя памятью имена и задания.

— Перехожу к последнему и самому основному вопросу, — продолжал Борис Федорович Сидорин. — На собрании мне довелось выслушать старичка — ученого химика и тоже изобретателя. Старичок этот открыл новый элемент с радиоактивными свойствами; кажется, он называл его экстерминатором, — впрочем, это неважно. Он произвел при нас эксперимент, о котором я вам уже говорил и который явился причиной смерти самого изобретателя. Да. Но это тоже неважно. Важно то, что и детрюит и экстерминатор, по моему глубокому убеждению, одно и то же вещество... Да, этот экстерминатор представляет только новые свойства детрюита. Мне удалось установить, хотя и приблизительно, местонахождение детрюита-экстерминатора... Кто из вас знает, господа, где находилась древняя Колхида?..

— Я имею некоторые сведения, — отвечал глухо ворчливый голос, он же Аполлон Игоревич.

— Нуте-с?

— Но только приблизительные, — продолжал Аполлон Игоревич. — Это где-то на территории Кутаисской и Батумской областей, а ныне, конечно, самостоятельных республик: Абхазской, Аджарской и Грузинской. По всей вероятности, по течению реки Гумисты или Ингура...

— Мы с вами поедem туда, Аполлон Игоревич, как только покончим с московскими делами.

— С удовольствием-с...

— Моя информация закончена. Приступим к вашей... Но меня начинает беспокоить долгое отсутствие моих молодых... Кто из вас свободней — пройдитеcь с фонарем, посмотрите: не заснули ли?.. Черт их знает, что они медлят?..

— Я пройдуcь, — услужливо поднялся дурашливый голос, он же Савва Никодимыч.

Рабфаковец отскочил от плиты и стрелой понесся по подземному ходу, благополучно избегнув во второй раз сигнальных ниток.

— Синицына, это — я, — предупредил он издали. — Тише, и идем скорей...

Запыхавшиеся, они остановились только под выходным отверстием склепа.

— Сипягин, — тихо позвал Иван караулившего наверху агента, — прыгай сюда... А ты, Синицына, лезь наверх; у нас здесь будет небольшая свалка...

Рабфакровка, подсаженная сильными руками, выскочила на поверхность, а Сипягин и Безменов стали по бокам отверстия, ведущего изнутри.

Ждать пришлось недолго: услужливый Савва спешил выполнить возложенное на него поручение... Сначала луч света озарил на мгновение противоположную стенку склепа, затем в проходе показалась тощая фигура. Безменов дал ей пройти, потом быстро и могуче стиснул сзади, одной рукой зажав рот. Сипягин скрутил руки и — в ухо:

— Если, сволочь, пикнешь — по башке револьвером!..

Но «сволочь» не могла пикнуть, потому что от неожиданности и от мертвой хватки рабфаковца лишилась чувств... В кармане ее лежала злополучная карта подземного Кремля.

Завладев картой, неугомонный рабфаковец не пожелал «почтить на лаврах», как ему предложила Синицина. Сдав под ее надзор полубесчувственного Савву-мечтателя, он вместе с Сипягиным снова устремился во тьму подземной Москвы. Но на этот раз его удаче пришел конец...

Они не дошли даже до места раздвоения хода. За пять-шесть шагов до него под ними вдруг разошлись в стороны две каменные глыбы... Грохот, лязг и стремительное падение... Единственная предосторожность, которую рабфаковец успел принять, это — сокращением мышц спины и живота сохранить прямостоячее положение, чтобы упасть на ноги. На ноги он и упал, отделавшись легким сотрясением позвоночника. Сипягин же упал навзничь. Сейчас же над ними с тем же грохотом сомкнулись глыбы.

Безменов зажег фонарик. Картина, представившаяся его взорам, не была рассчитанной на поддержание в ком бы то ни было бодрости духа. Круглый каменный «мешок» диаметром в полторы сажени с массивной кладкой и без всяких ходов. По окружности стены, на равном друг от друга расстоянии, на коротких заржавленных цепях, вделанных в пол, сидело пять человеческих костяков, на веки веков сохранивших язвительно-насмешливый оскал желтых зубов... Сипягин раскинулся в бессознательном состоянии посреди истлевших костей, но у него не было видно ни крови, ни серьезных наружных повреждений.

Рабфаковец вышел из оцепенения и, предоставив своему товарищу самостоятельно возвращаться из мира небытия в мир солнца и красок, с лихорадочной поспешностью принялся за изучение бывшей с ним карты.

— Глупо сделал, — бормотал он сквозь зубы, — надо было оставить карту у Синициной...

Он до тех пор, не отрываясь, пристально смотрел на карту, пока ее ходы, каналы, подземелья и застенки не врезались навсегда в клетки его мозга. Густо покрытый пылью пол служил ему при этом графитной доской, а палец — грифелем. Потом вспыхнула спичка, и от карты остался один пепел.

После урока географии он занялся медициной и тоже с отменным успехом:

— Ну-ка, расскажи... — после пятиминутного искусственного дыхания задал свой первый вопрос Сипягин. — Ну-ка, расскажи: куда это нас угораздило?..

— В место, где много костей, но мало мяса... — ответил Безменов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Послушайте, сэр, — сказал дьякон, сидя в двухместной каюте «Юнкерса», — а ведь я — не изобретатель, ну-ка?..

Аэро в это время пролетал над «Белым озером» — «Вайсензее», по-немецки, — то есть, уже приближался к Берлину.

— Брешете, — с полным недоверием отозвался Чарльз Уэсс, цикнув слюну через зубы и попав себе в ноздрию, вместо окна.

— Брешете, — повторил он, заалев и шелковым платком уничтожая последствия своей неопытности.

«Господи! — сокрушился дьякон про себя. — Даже плевать, как следует, не умеет...» — И, разживив слюну, он оскорбительно-демонстративной струйкой пустил ее на кладбище «Нэу Хохен Шонхаус», над которым пролетал теперь аэроплан.

— Нет, в самом деле? Какой я, к дьяволу, изобретатель! Я даже таблицы умножения не знаю...

В голосе дьякона совсем не чувствовалось убедительности, потому что он сознавал, что англичанин ничему не поверит, и все-таки продолжал с деревянной настойчивостью:

— Скажем: изобретатель, ну-ка? Разве такой он имеет вид, как, к примеру, у меня?.. Мне дьяконица постоянно сказывала — если уж идти в открытую — «ты, мол, не человек,

а идиот оловянный».. Право, так и говорила... — Он снова пустил через зубы тонкую струйку и снова демонстративно прищурился на своего похитителя.

Англичанин, забитый вконец искусством дьякона, глянул на него искоса. Усмехнулся... Определение дьяконицы как нельзя больше соответствовало истине: английский строгий пробор и бритые щеки очень слабо гармонировали с дьяконской луковицей вместо носа, и, действительно, оловянными глазами.

— Вот я и говорю, — продолжал дьякон, — тратите вы зря, сэр, деньги... Это на меня-то... Потому как я совершенно не соответствую вашему, сэр, представлению... Был я, скажем, дьяконом, а теперь даже «Преблагой господи» забыл, как читается; был регистратором и курьером и всегда путал адреса и номера исходящих-входящих... Неспособный я человек, сэр... Господи Иисусе! Смотрите! Смотрите! Падаем ведь мы!.. — Он вдруг рванулся к окну и завопил истошным голосом...

Англичанину пришлось силком оторвать его от окна, чтобы самому убедиться в положении аэроплана. В этот момент дьякон, очутившись сзади, массивным кулаком съездил англичанина по уху, из сюртука быстро извлек у него детрюитную палочку, и неподвижное тело, перевесившееся головой и руками через окно, выбросил из каюты...

Только тогда он опомнился.. Подвиг, которого он никак от себя не ожидал и который был совершен в состоянии секундного аффекта, теперь поверг его в безграничную растерянность и подавленность.

— Господи, что же это я наделал и что мне теперь будет? — спросил дьякон, обращая блуждающий взор к небу.

Господь, по обыкновению, помалкивал в кулачок, и дьякону довелось самому разбираться в возможных последствиях своего поступка.

На землю спускались сумерки, и никто из пассажиров не заметил падения тела. Но ведь исчезновение англичанина скоро должно обнаружиться, когда контролер пройдет по каютам!..

Дьякон порывисто собрал уэссовские вещи, намереваясь немедленно выбросить их в окно, но одумался и сначала вынул из ручного саквояжа все деньги, револьвер и подвернувшуюся под руку зубную щетку в целлулоидном футляричке. Все это он переложил в свой саквояж. Пальто англичанина, его палка с золотыми инкрустациями и оба саквояжа полетели вниз.

Через полчаса аэроплан стал снижаться. В каюту, как и ожидал дьякон, вошел контролер; предложил показать билет...

Пассажир в ответ замычал.. Он совсем забыл о проездных документах, и они остались в сюртуке англичанина.

Контролер спросил о втором пассажире.

В ответ новое бессмысленное мычание.

Контролер пожал плечами и повернул к выходу. Дьякон еле удержался от страстного желания пустить ему вслед детрюитный луч.

Совершенно потерявшись, в приступе животного ужаса, он запер за контролером дверь каюты на задвижку, судорожно ухватился за ручку и ждал.

В дверь очень скоро забарабанили. Дьякон перекинулся к окну. Аэроплан уже был над аэродромом, передними колесами он касался земли, но мчал с большой скоростью.

Действуя в том же животном исступлении, дьякон прыгнул в окно, зацепился ногой за раму и тяжелым кулем ухнул на землю. Он не почувствовал боли, хотя в силу инерции прокатился сажени две по асфальту. Его чувствительность была подавлена разгулом смертельного ужаса... Поймав момент, он вскочил, наконец, на ноги и, прихрамывая на обе ноги, под яркими лучами прожектора, который, конечно, не для него светил, а для посадки аэроплана, побежал вприпрыжку, стараясь поскорее достигнуть черной, неосвещенной грани.

Но его уже заметили. Прожектор стал обгонять ковыляющую фигуру. Дьякон с новым приступом ужаса увидел, что черная грань уходит от него, как во сне. Тогда, внезапно обернувшись, он послал луч в сверкающую глотку прожектора. Раздался треск, и свет погас. Последний акт

разрушения произвел на него такое действие, что он вдруг остановился и прерывающимся от одышки хриплым хохотом огласил тьму ночи.

Ведь он же всемогущ, сатана их всех заведи!!.. Он ли должен бежать от кого-то, задыхаясь, обливаясь потом и чувствуя, как грудная стенка колеблется от нелепой пляски сердца, как почва вокруг огнедышащего вулкана, ну-ка? Ему ли — владыке детрюита — спасать свою жизнь от двуногих козявок, которые — это он хорошо знал — под лучом детрюитной палочки распадаются надвое, натрое и на сколько угодно частей?!.. Они, они, весь мир, все должны трепетать перед его могуществом!!.. Пасть перед ним на колени и молить униженно о пощаде... но вот кого он пощадит, кого казнит — это уж его дело!.. ха-ха-ха!..

Неожиданно он ударился жестикулирующим кулаком о каменную стену.

Что такое стена? Пхэ!.. Василий Ипостасин, если потребует, а то и просто так — ради собственного удовольствия, насквозь просверлит землю, собьет спесь с надменной рожи луны — пускай не ухмыляется без толку! — расколется надвое огненную сковородку солнца и одну половину подарит, кому захочет... Василий Ипостасин всемогущ, как бог, ну-ка?!..

Продолжая выпускать из воспаленной глотки иступленные раскаты хохота, он лучом заставил каменную стену на протяжении 2-х аршин сверху донизу превратиться в искристую пыль, и после этого с горделиво взброшенной головой прошел через брешь, как через триумфальную арку.

Кругом заносились пронзительные трели полицейских свистков; рассыпались взбудораженные голоса; забежали беспокойные огоньки. И снова могучий сноп лучей второго прожектора рассек наполненную тревогой тьму. Дьякон уже находился за стеной — вне досягаемости световых щупальцев — и все же вернулся обратно. И торжественно, будто священнодействуя, повторил свой эксперимент. Снова — треск и тьма.

Тогда он окончательно перешел за стену и попал на шоссе. Вышел, чувствуя в себе необузданную мощь и отвагу древнего галла, о котором Кайюс Юлиус Цезарь написал бесподобные мемуары.

Навстречу ему катил велосипедист.

— Сто-ой!! — загорланил он.

Велосипедист остановился и оказался полицейским, но, прежде чем он успел схватиться за револьвер, его тело, разрезанное пополам по поясу, скатилось в дорожную пыль. Дьякон подхватил падающий велосипед. Разбив кулаком фонарь, он неуклюже взгромоздился на стального коня и, рисуя корявые зигзаги, покатил по шоссе. Велосипед каким-то чудом избегал столкновений с пышущими светом автомобилями и экипажами.

Новый полицейский, попытавшийся на углу людной улицы преградить ему дорогу, немедленно отправился по стопам своего коллеги.

Было бы утомительным перечислять все подвиги истине взбесившегося дьякона. Достаточно сказать, что за первую свою ночь в Берлине он увеличил число небожителей на одиннадцать человек.

Местность «Вайсензее» богата проточными озерами. В озерах водятся сомы, щуки, налимы, карпы, окуни и лягушки. В особенности изобильны последние.

Поселок «Доппель-кюммель» стоит у небольшого озера того же названия. В озере, следуя общему правилу, больше лягушек, чем рыбы. Однако находятся рыбаки из жителей поселка, которые упорно, из ночи в ночь, ловят в озере сомов. Одним из таких является престарелый Фридрих Кюммель.

В текущий вечер означенный рыбак сидит около потрескивающего и шипящего костра на своем излюбленном месте — под сенью кряжистой и мшистой ивы, сливаясь с нею в одно целое. Кюммелю — 85 лет, иве — 70. Кюммель помнит иву, когда она была жалким кустиком, и поэтому покровительственно относится к старушке, поглядывая на нее отечески строго, хотя и снизу вверх. Кудрявая ива дружелюбно укрывает старика в зеленых прядях своей кудлатой

головой, оберегает его от ночного свежего ветра, посматривая на него сыновне-ласково, хотя и сверху вниз. Весеннезвонкие голоса пучеглазого водяного общества полощут над озером воздух.

— Де-душ-ка,— говорит старому Фридриху внучек Карлушка, говорит с тоской в голосе. — Де-душ-ка, я пойду лягушек бить. Пусти, ну?..

— Сиди, сиди, постреленок! Ты мне в прошлую ночь всех сомов разогнал и опять хочешь?..

Рыболов сердито жует мягкими челюстями жесткую фразу, готовую сорваться с мшистых губ, но, разжевав, сдерживается, сомы ведь бегут от бранчливых.

Карлушка с новым приступом тоски прислушивается к издаваемым, кажется ему, голосам лупоглазок.

— Дедушка, — говорит он робко, — мне отец сказал, что в озере сомов нет и никогда не было...

— Твой отец дурак! — срывается-таки у старика, пораженного в самое больное свое место. Потом, пожевав, он добавляет более сдержанно: — Твой отец и не знает, что такое сом. Он его разве только во сне видел. А я здесь лавливал не десятками, а сотнями...

— Папа говорит, что это было...

— Знаю, знаю, что он говорит. Это, мол, было при царе Горохе...

— Да, при царе Горохе, — быстро соглашается внучек, — у меня еще сказка такая есть...

— А скажи-ка, — у старика в голосе, в глазах, во всей фигуре — явное торжество.— Скажи-ка: кто это клевал в прошлую ночь? Ага!..

— Это лягушка...

— Сам ты лягушка! Где это видано, чтобы лягушка клевала на лягушечью наживу! Ага!..

— Она и не клевала... Она только ногами дрыгала... — Внучек прыскает в кулак и, отскочив на расстояние двух палок, добавляет, приплясывая: — А я на крючок не мертвую посадил, а живую... Ага! Живую! Живую!.. Ага, ага, ага!..

Невоспитанность малолетнего внука разворачивается вовсю. И кто знает, до чего бы он дошел, если бы...

...В двух шагах от схватившегося за палку деда, подняв вверх каскады воды и рассердив ею по натуре игривый костер, бухнул тяжелый предмет и пошел ко дну... Удилища согнулись и погрузились в воду... Дед, конечно, совсем не обольщаясь, что сомы с некоторых пор стали водиться на небе, сгреб концы всех удилищ своей мозолистой лапой и поволок их из воды.



В лесках запутался человек. Можно сказать, самый настоящий человек, и, по всей видимости, буржуазного происхождения. Ликованию малолетнего Карлушки не было границ. Особенно его восторгало то, что человек был брит, как папер, и кругом облепился дохлыми лягушками.

— Дед? Он клюнул на них? — не без лукавства вопрошал внучек.

Престарелый Фридрих молчал. В молчании чувствовалось непередаваемое словами презрение «к тем проклятым штуковинам, которые имеют вертушку на носу и сбрасы-

вают сверху всякую пададь на головы ни в чем неповинных и всеми уважаемых граждан».

— Потрясти его надо, — сказал он, наконец. Однако этот способ оживления оказался не под силу ни старому, ни малому.

— Ну, что мне с ним делать?! — возмущался старик. — Не тащить же его две версты на своей спине?! Ступай, позови людей...

Карлушке совсем не хотелось бросать выуженного человека на произвол «злого» деда; кроме того, стусившаяся темнота отнюдь не благоприятствовала двухверстному путешествию до поселка.

— Я, пожалуй, не пойду, — неуверенно сказал он. — Лучше я буду трясти...

Дед снова схватился за палку, а человек в это время пришел в себя.

— Откуда я? — спросил он на чистом английском.

Фридрих Кюммель когда-то служил матросом и был неплохим матросом, он чуть было не сделался старшим боцманом. Поэтому английский язык ему был знаком.

— Вы, гражданин, распугали мне всех сомов, — угрюмо процедил он.

— Значит, я был в воде? — спросил человек, пытаясь подняться с земли.

— Вы, гражданин, чурбаном рухнули в воду и распугали мне всех сомов, — упрямо продолжал дед.

— Ах, значит, я упал с самолета...

Карлушка смотрел прямехонько в рот выуженному человеку и, хотя не понимал ни слова из его странной речи, все же чувствовал себя на одиннадцатом небе от блаженства.

— Дедушка, он высохнет? — спросил он.

Но дед продолжал свое:

— Я вас, гражданин, когда вы примете человеческий вид, привлеку к судебной ответственности за...

Человек с трудом поднялся, с удивлением оглядывая свое платье, увешанный лягушачьими лапками и крючками.

— Мне нужно сухое платье и белье, — твердо выговорил он.

— Может быть, вы хотите, чтобы я разделся? — пробурчал дед.

— Мне нужно переменить одежду, — снова повторил человек и потом, вдруг заметив мальчугана, обратился к нему: — Не падало ли здесь еще чего-нибудь?..

— Ни-че-во-шень-ки не понимаю, — чуть не плача от досады, протянул Карлушка, обращаясь не к человеку, а к старику.

Человек сейчас же перевел свой вопрос на немецкий. Карлушка встрепенулся:

— Падало! Падало! Да еще как, ого! Только там... — и он махнул рукой в ночную темь.

— Я так и думал, — произнес человек, как бы про себя. — Он — не круглый идиот... Ну, принеси мне, что там упало.

Карлушка безмолвно придвинулся к деду.

— Ну, пойдем вместе, — понял его человек.

Карлушка еще тесней прилип к старику.

— Он, гражданин, боится темноты и вас, — нехотя пояснил Кюммель. — Вы посидите тут, а я с ним схожу, так и быть...

Нашли чемодан, пальто и палку с золотым набалдашником.

Палку странный человек тотчас же подарил деду, мокрое белье и платье с лягушачьими ножками — Карлушке, а сам переделся в сухое белье и новую пару.

— Далеко ли отсюда до города? — спросил он.

— До поселка две версты, — преобразившийся, отвечал дед, — а от поселка на трамвае... Мы вас, гражданин, проводим... Карлушка, — прибавил он, — сматывай удочки и все... Такого сома мне еще не приходилось лавливать...

В поселке человек спохватился денег, но не нашел даже ни одного пенса. Старик любезно одолжил ему на трамвай до английского посольства.

При прощании малолетний Карлушка спросил, подражая деду:

— Вы когда еще будете падать, гражданин?..

— Н-не знаю, — отвечал странный человек вполне серьезно.

На следующий день, рано утром, можно было видеть выуженного человека в кафе «Националь», что на Фридрихштрассе, — за газетой. Он пожирал яичницу и в то же время хронику города. Одинаково энергично действовал и зубами, и глазами.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... Я так и знал, — наконец сказал он удовлетворенно, откладывая газету и потягиваясь, несмотря на то, что последнее в приличном обществе не принято. — Он себя выдает с головой. Он — дурак. Набитый дурак...

После этого выуженный человек — мистер Чарльз Ричард Фредерик Уэсс — позвонил в главное полицейское управление:

— Что — еще не поймали таинственного убийцу?..

— Вы кто такой?..

— Я с ним ехал в одной каюте на аэроплане. Он обокрал меня и выбросил в окно... Это — русский большевик. Он выкрал у меня ценные бумаги...

— Будьте добры, зайдите к нам и сообщите свою фамилию.

— Хорошо. Я сейчас буду... Так он еще не пойман?..

— Нет. Прочтите франкфуртские газеты.

Мистер Уэсс бросил телефонную трубку и немедленно поехал в... Франкфурт. В полиции долго его ждали...

Франкфуртское общество находилось в паническом ажио-таже: неизвестный зверски убил трех жандармов, двух уважаемых всеми граждан, забравшись к последним на квартиру и унеся с собой валюту в золотом исчислении на несколько сот тысяч марок, начальника станции, и как будто уже скрылся из города.

Мистер Уэсс не ждал, чтобы ему предложили почитать, а сам лихорадочно стал рыться в провинциальной прессе.

— Ну, конечно, большой дурак, — сказал он себе, когда снова нашел в телеграммах из Глогау потрясающие известия о загадочной смерти двух сотрудников тайной полиции и хозяина отеля. — Я его непременно поймаю...

Из Глогау кровавый след тянулся до Бреславля, отсюда — до Опшельна и Ратибора.

В Будапеште неутомимый преследователь соображал:

— Куда же, в конце концов, мчит этот дурак?.. Где он остановится?.. Или, может быть, он намеревается уподобиться Агасферу — вечному страннику? Что ж, весьма возможно, но тогда я его не поймаю...

В Терезиополе он чуть было не потерял след: загадочный убийца, казалось, пресытился кровью. Выжженный человек чувствовал себя неважно. Метался из города в город, стал притчей во языцех для всей тайной полиции Австро-Венгрии. На авось переехал границу и в Сербии в Белграде, смакуя, прочитал на заборе на самой людной улице объявление:

«За поимку живым или мертвым таинственного убийцы назначается от города 2 000 динаров, за доставку его смертоносного оружия — 10 000 динаров».

По последним известиям железнодорожной охраны убийца намеревался ехать в город Ниш.

Мистер Уэсс, очутившись в Нише, недоумевал:

— Если он имеет намерение ехать в Россию, не нужно было выбирать такого дальнего пути. Впрочем, черт его знает: какое у него намерение?..

В Нише загадочный убийца рассек пополам только одного — станционного кассира.

То же самое повторялось в Софии и Филиппополе. Очевидно, убийца нашел самое верное средство замечать следы.

Из Филиппополя мистер Уэсс, не дожидаясь дальнейших известий, на свой риск поехал в Константинополь, решив:

— Да. Он едет в Россию. Но, видимо, хочет попасть в нее со стороны Кавказа. Может быть, даже поселиться на Кавказе...

Его предположения оправдались. Загадочный убийца оставил обильный кровавый след на Константинопольской пристани и в самом городе. Кассир на пристани был только ранен, и от него удалось узнать, что убийца взял билет прямого сообщения до Сухума на пароход «Кемаль-паша».

— Ага! Климатическая станция... — решил неутомимый преследователь. — Хочет подлечить нервы... не мешает...

В Константинополе загадочный убийца сделал большой промах — допустил непростительную «небрежность» — не добил портового кассира. Кассир выжил и дал детальное описание наружности убийцы.

— Это нехорошо, — думал выжуженный человек, беря билет на Сухум, — его могут поймать, отобрать палочку и деньги. Я останусь ни при чем...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Это верно, что за время вихревого бегства по железным дорогам — из города в город, из страны в страну — дьякон Ипостасин здорово расстроил свои нервы. Кроме того, сильно извелся и отоцал. Но не для лечения ехал он в Сухум. Сухум был единственным городом из Закавказской Федерации, который был ему известен, и то, правда, понаслышке. Его квартирант Митька Востров частенько отзывался о нем в самых восторженных выражениях и расписывал его природе сверхрадушными красками. Память дьякона вследствие этого даже удержала названия главных сухумских улиц и то, что «город Сухум делится на две части — первая расположена высоко, вторая низко, в первой климат прохладный, приятный и полезный, во второй летают комары, а следовательно и малярия», — последнее дьякон помнил особенно твердо, так как боялся малярии пуще Чеки.

По приезде в Сухум он собирался, поселившись в нагорной его части, где «климат прохладный, приятный и полезный», выписать сюда же любезную супругу свою — дьяконицу Настасью, без которой чувствовал себя, как армия, потерявшая хозяйственную часть, и снова заняться мирной — с пышками и плюющимся самоваром — жизнью, бросив смертоносный промысел навсегда.

За длинный путь от Берлина до Константинополя дьякон приобрел массу полезных знаний и опыт в области сохранения инкогнито и заметания следов. Прежде всего, он действительно, как и предполагал англичанин, в совершенстве научился пользоваться для этой цели смертоносной палочкой. Каждую подозрительную личность, благосклонно или как иначе обратившую на него свое внимание, он рассекал надвое, а если этого казалось мало, то и начетверо. Полицейских, жандармов и прочих блюстителей порядка он уничтожал даже в том случае, когда они и не выказывали к нему внимания. Стоило им только приблизиться, нечаянно или нарочно, на расстояние хорошей видимости, дьякон неизменно пускал палочку в ход.

Справедливости ради надлежит отметить, что убийца с каждой новой кровью также неизменно терзался жалостью и страхом перед карающей десницей «всеблагого». Делать дырочку в голове кассира, продающего ему билет, он научился не сразу. Будучи в городе Нише и поинтересовавшись с помощью случайного переводчика отделом телеграфных сообщений местной газеты, дьякон из уст переводчика услышал полное и правдивое описание своей собственной наружности, сделанное бреславльским железнодорожным кассиром. Это и толкнуло его на счастливую мысль, — купив билет, благодарно отправлять продавца в место, «где несть болезней и вздыханий, но жизнь бесконечная». Услужливый переводчик, понятно, больше не занимался переводами: он внезапно скончался, едва успев поднять изумленный взор из-за газеты на своего собеседника...

Из-за проклятой газеты дьякон экстренно сменил физиономию, прическу и костюм. Физиономию и прическу ему сделал парикмахер (мир праху его!.. между прочим, он научил дьякона пользоваться перекисью водорода для окраски волос), запасной костюм нашелся в чемодане.

Приобретя билет 1-го класса, в отдельную каюту, гражданин Василий Васильевич Ипостасин на пароход вступил с русой бородкой и усами, в широкополой полутуристской, полудуховной шляпе и в широком пальто, похожем на свя-

щеннические хламиды. Его душевное состояние изменилось в соответствии с внешностью: «Экспериментов не производить, — сказал он себе, — и так напрактиковался замечательно...» Кстати сказать, имея многочисленный подопытный «материал», Ипостасин значительно усовершенствовал технику пользования палочкой. Он не держал ее уже в руке, на виду у всех. Нет. Теперь она покоилась в правом рукаве сюртука, будучи прикрепленной резиновым шнуром к плечу. Достаточно было оттянуть шнур, зажать свинцовую головку в кулаке правой руки, левой через ткань рукава нащупать рычажок, открывающий отверстие, и невидимый луч, чуть слышно свистнув, проходил незаметно между слегка раздвинутыми пальцами... проходил и наверняка поражал намеченную жертву.

На пароходе Ипостасина приятно удивила многоголосья русская речь. По ней он сильно соскучился. Можно сказать определенной: измучился без нее. Осмотревшись, — по привычке выискивая подозрительных личностей, — и увидев только круглые животы, складчатые шеи и раскормленные ляжки представителей российской нэпмании, Ипостасин почувствовал себя возрожденным к новой жизни. Почувствовал нежную любовь к животам и ляжкам, и сердце его наполнилось святою благодатью.

— Дух святой сошел на меня, — умилился он и сейчас же решил — благо позволяли отросшие волосы и подходящий костюм — повысить себя в священном сане.

— Я — русский иерей, — благожелательно молвил он, подходя к одному из нэпачей, мечтательно свесившемуся на шканцах через боковые перила. — Давно не был в России... Могу я вас спросить, если вы соблаговолите ответить, как идут экономические и прочие дела на нашей общей и святой родине, ну-ка?..

Теперь наружность его была вполне благочинна, и нэпач с удовольствием завязал длинный разговор, болтая на всевозможные темы, а главным образом, о выделке колбас из дохлых свиней — так как это была его специальность. Возрожденная душа дьякона даже от свиней млела. Впрочем, недолго... Нужно быть наивным, как он, чтобы воображать,

что слезка и преследование канули в забвение, как только пароход отвалил от берега, и что новая стихия — вода — не порождает бурь. Сначала о бурях.

Трясаясь животом, складками шеи и прочими местами, богатыми благоприобретенной жировой субстанцией, и всем гнусным видом своим напоминая убойного йоркшира, нэпач рассказывал:

— В 1919 году, когда в Москве перебили всех кошек, голубей и крыс... хо-хо... когда конина и собачина были лакомым блюдом, я имел особенно большой сбыт колбас... хо-хо... конечно, из-под полы, вы понимаете?.. Ссужал своим добрым знакомым и знакомым моих знакомых, а те еще дальше... хо-хо... Тогда уж, конечно, вы понимаете, свинью дажедохлую достать было весьма трудно, и я организовал по окрестным деревням сбор падали... всякой падали: тут были и кошки, и собаки, и крысы, и лошади (последние редко), идохлая птица, и прочее, прочее, вплоть до мышей... хо-хо... Получались недурные колбасы... хо-хо... такого, знаете, серебряного отлива — очень жирные и очень сочные. Красного мяса в них видно не было, зато жира!.. Жира — сколько угодно!.. Ведь население так нуждалось в жирах... хо-хо... А знаете, откуда был этот жирок?.. Из червячков, батюшка, из червячков, хо-хо... Я всегда предпочитал разложившуюся падаль свежей: первая почти начисто из червячков состоит — белых, сочных и жирных, хо-хо...

— Да ведь это же противно, что вы говорите! — тихо возмутился дьякон, большой любитель колбас, чувствуя приступ тошноты... Он вспомнил, что в голодные московские годы ему особенно нравились продаваемые из-под полы колбасы с серебряным отливом.

— Почему противно? Хо-хо... Ведь сам я их не ел и знакомые мои не ели. Мы только распределяли, хо-хо, среди беднейшего, так сказать, населения... Мы, так сказать, углубляли революцию, хо-хо...

— Где был ваш распределитель? — спросил вдруг померкнувший дьякон.

— А на Никитской, хо-хо... Знаете, против эдакой покривившейся церковки? В центре, в центре, так сказать, пролетарской столицы...

Дьякон не мог снести такого надругательства над самыми лучшими своими — желудочными — чувствами. Колбаса с серебряным отливом нагло ворочалась под ложечкой, хотя уж прошли годы, и ей пора было бы перевариться. Глянув скорбными очами вокруг и убедаясь, что свидетелей нет, он поднял правую руку до уровня груди жирной скотины, где трепыхалось самодовольно жиром заросшее сердце; левой рукой нащупал спуск палочки, и луч, нежно свистнув, просверлил кожу, жир и мясо.. Нэпач грузной тушей повис через борт.

Возведя очи своя горе, дьякон грустной поступью и в печали отошел от места нечестивого, устами дрожащими шепча:

— ..и тако нечестивии, и тако... иже колбасы из гноезной падали творяяй, да возметает ветер прах их лица земли... Яко весть господь путь праведных, а путь лукавых и порочных погибнет...

Что касается его собственного пути, то он вел пряمهонько к кафе-ресторану, где так вкусно готовились неведомые, иностранные яства.

Пароход шел по широкому водному пространству, залитому солнцем. Ни берегов, ни островов. Лазурь вод и лазурь небес. Каскады света и однотонный стук винта, а сзади — вспененный шлейф.

Дьякон поместился у полуоткрытого окна за столиком. Уничтожая диковинное турецкое блюдо «кебаб», он грустно поглядывал на дельфинов, бесившихся в изумруде волн.

Ресторан был набит битком. Речь: турецкая, итальянская, русская и грузинская — переплеталась в причудливой музыке. В общем же, преобладал интернациональный смех и гастрономические восклицания.

Вдруг как бы разряд лейденской банки потряс жующее, смеющееся и болтающее общество... Повисло в воздухе:

— Убит!..

— Загадочный убийца!..



— Кто? Яблочкин?.. Нарцисс Степанович?..

— Да! да! Яблочкин!.. Он, он, как же!..

Кто-то жаловался, спеша прожевать:

— Пять минут тому назад видел его: смеялся, острил, говорил о свиньях, о колбасе...

— Не может быть?! Да что вы?!..

— Верно, верно говорю: о свиньях...

— О, кэль орэр!.. Террибль!..

— Он мне должен двести...

— Убит!.. Убит!..

— Дырка против сердца... и ни одной капли. Заметьте: и ни одной капли. Как тогда, помните?

— Жена... дети... старая бабушка...

Дьякон прилип к стулу. Оторвался от «кебаба». Потом кинул соседнему столику:

— Ис-то-ри-я, ну-ка?..

— Господа! Прошу сидеть спокойно... Сейчас будет обыск... Среди нас — убийца...

Вошли двое полисменов в сопровождении гражданского чина, который по-французски, по-турецки и по-русски повторил эту фразу.

Правая рука дьякона лежала на спинке стула, левая бессознательно поднялась к ней снизу.

Общество сидело спокойно, но, не умолкая, плевалось возбужденными словами. Никто не расслышал, как свистнул детрюитный луч, пронзив сначала одного, потом и другого полицейского. Гражданский чин, молнии подобный, ретировался в дверь.

Животная паника разразилась в ресторане. Опрокидывая столики с приборами и яствами, давя дам, бабушек и детей, все кинулись к дверям. И дьякон в числе прочих...

До вечера полиция никаких мер не принимала. Пассажиры сообщали друг другу на ухо, под большим секретом, что ночью будет поголовный обыск. Подозрительным избегали сообщать это. Дьякон, конечно, в число подозрительных не попал. А их было трое: вертлявый молодой человек с наружностью международного шулера; мрачный гигант с гривой черных волос и лицом, трактующим о при-

страсти к веселящим душу напиткам, и субъект, «особых примет не имеющий», кроме разве глаз, выдающихся по своей бесцветности.

Когда, по настоянию особенно благонадежных из пассажиров, «подозрительным» было предложено в категорической форме публично предъявить свои документы, они — к великому конфузу администрации парохода и полиции — все трое оказались тайными агентами турецкого правительства...

Ночь прошла спокойно, — не для всех, разумеется. Дьякон ни на минуту не смыкал глаз. Призывая бога в качестве беспристрастного свидетеля своего отменно-пацифистского настроения, он за ночь — чтобы не заснуть — успел отслужить заутреню, утреню, обедню и вечерню. Утром он вышел на палубу, имея осунувшееся лицо и на нем глаза, обведенные черными кругами.

Собственно говоря, полиция взяла верную тактику, откладывая обыск со дня на день и выжидая момента, когда загадочный убийца сам свалится от бессонницы. Эта тактика, будучи наиболее безопасной, обеспечивала ей хорошее поле для наблюдательности. Но полиция не учла двух обстоятельств: первое, что вместе с убийцей будут бодрствовать, правда, не в молитвах и литургиях, и еще многие, — главным образом, из числа обладателей туго набитых бумажников, и второе, что переезд из Константинополя до Сухума занимает всего три дня — время, слишком недостаточное для обессиления убийцы путем лишения его сна.

С первыми лучами солнца из кают выползли мрачные, невыспавшиеся физиономии. Подведенных глаз, не считая женских, было более, чем требовалось.

К концу третьего дня пароход подошел к Сухуму — столице Абхазской республики. Пассажиров, прибывших к месту назначения, перед посадкой в шлюпку подвергли изысканно-вежливому, поверхностному обыску. Дьякон, которого даже такой обыск не устраивал, прочитав про себя трижды «боже милостивый, буде мне грешнику...» и тоже трижды «помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», собирался обратиться к помощи палочки. Но судьба в

лице полиции продолжала ему покровительствовать; бессонница превратила его физиономию в физиономию аскета и подвижника... С поклонами и улыбками полисмены отказались обыскивать столь почтенную личность...

Заняв лучший номер в единственной сухумской гостинице, дьякон выспался так, что, проснувшись, не сообразил, где он и кто он...

Пышное солнце напомнило ему зайчиков на скатерти и сдобные пышки. Мягкий ароматный воздух, шаловливыми струйками врывающийся в настежь открытое окно, вызвал яркое представление о проказливой дьяконице Настасье.

— Я приехал в Сухум, чтобы начать новую жизнь, — сказал своей возрожденной душе дьякон. — Без Настасьи жизнь — не жизнь, — добавил он, немного размыслив, — следовательно, вызовем Настасью...

Но прежде нужно было подумать об отдельной, совершенно отдельной квартирке, или — если уж на то пошло — о целом домике, подобном церковному в три окошечка. Финансов дьяконских хватило бы на целый десяток таких домиков, так что о кризисе в финансовом вопросе не могло быть и речи.

Он без труда, так как лечебный сезон не начинался, нашел себе дачу в три комнаты, с полной обстановкой и «без лихорадки» — последнее во влажном сухумском климате особенно ценилось. Дача стояла на невысокой горе, на восточном краю города, в компании десятка подобных себе. Дьякон снял ее на год, заплатив за все двадцать червонцев.

Освободившись рано от деловых хлопот, он до вечера, как шальной, бродил по городу и его окрестностям, пораженный буйной и пышной растительностью природы.

Зеленая жизнь здесь была ключом. В ближайших и далеких окрестностях Сухума, вплоть до убеленных вечными снегами горных вершин, не было ни одного не покрытого растительностью, не зеленого клочка земли, за исключением торной дороги, каменистого русла реки или голого обрыва скалы, только местами, как бы для контраста, по-

росшей кудрявыми дерновинками мелких папоротников или красочными пятнами гвоздики и колокольчиков. Лишь морской берег — и то до расстояния каких-нибудь 5-6 сажен — был лишен растительности, но ропщущее море, разноцветные гальки и ракушки сами по себе доставляли московскому — безвыездно — жителю невыразимое удовольствие.

— Осанна ликуй, как хорошо! — восклицал он беспрепятственно, останавливаясь то перед зеленой коммунальной приземистой широколиственной павлонией, то перед благоухающей группой мимозных акаций и катальп, среди которых над волнистым абрисом раскидистых вершин высились дерзкие пирамидальные тополя и гордость Сухума — мощные эвкалипты; то на приморской аллее из шумных пиний, розовых акаций и узорчато-изрезанных туй; то просто перед каким-нибудь причудливым камешком, выточенным морским прибором, или перед зеленой лужайкой со скромными цветками космополита-одуванчика. Даже развалины древней крепости, уже за чертой города, даже старинная турецкая мечеть вызывали у него слезу умиления.

Лишь с заходом солнца он вернулся на свою дачу — блаженно расслабленный и душой и телом, и сейчас же потребовал самовар у престарелой грузинки Тамары, переданной ему в услужение вместе со всей дачей.

За чаем, обставленным далеко не по-московски — самовар ныл, а не плевался — дьякон начал обдумывать послание к далекой своей супруге.

«Любезная женушка Настенька! Находясь в преблагословенном граде, имярек, и пребывая в чувствах, которые, после бесчисленных бед и тяжелых лишений, претерпленных рабом Божиим Василием (сиречь мною) и ублаженных (это, значит, в чувствах ублаженных) здешним плодородным зело и добротным климатом, я, который решил жизнь старую греховную, полную творимых скверн, оставить...»

На этом месте дьякон задумался: а как он перешлет свое послание?.. Почтой — нельзя, опасно... с человеком?.. — Где его искать, ну-ка?..

Кончив чаепитие, а на это ушло добрых полтора часа, он так и не нашел выхода из тупика. А посему и само послание к написанию не торопилось.

Может быть, тому виною была усталость от дневного непрерывного восторгания чудной сухумской природой; может быть, чай, уничтоженный в количестве десяти стаканов; может быть, природная дьяконская туповатость, — только он скоро совсем перестал думать о каких бы то ни было выходах и о Настасьях. Развалившись в мягком кресле и щуря осовевшие глаза на интимно подмигивающую керосиновую лампу, он плавал в полудремотных грезах, похожих на кошачьи по своей невыявленности.

За окном — лунная ночь, полная крикливой жизни. В домике — жизнь, лениво замирающая. За окном — мелодичное пение зеленых древесных лягушек, перед сном импровизирующих любовный концерт; стрекочущие хоры кузнечиков, резкая, крикливая музыка неутомонных цикад и отдаленный лай вечно голодных шакалов. В домике — похрапывание престарелой грузинки Тамары, удивленный подсвист ей невидимого сверчка и блаженная осоловелость дьякона.

Но как все непрочно на этом свете — даже в жалких остатках капиталистической культуры, даже при зареве мирового социализма...

У дьякона из кошачьих грез выделилась ленивая мысль: «надо спать» и вторая: «утро вечера мудренее». Дьякон с минуты на минуту собирался оставить мягкое кресло, всосавшее в себя его тело; дьякон, наконец, даже привстал, потом совсем встал и подошел к открытому окну, чтобы кинуть прощальный взгляд на ночную природу... Его поразили низко мелькающие в воздухе яркие звездочки — поразили, потому что он не знал, что это фонарики летающих жучков «лямпирис ноктилука», а грузные зигзаги в лунном свете гигантских ночных бабочек — «мертвой головы» и «олеандровых павлинов» — даже заставили перекреститься.

— Чудные дела твои, господи! — через несколько минут прошептал он, сообразив, что это не дьявольское наважде-

ние, а живые существа, не причиняющие вреда, прошептал почти с благоговением.

Наконец, он оторвался от созерцания красот ночной природы и обернулся к двери... обернулся к двери, и крик ужаса вылетел из его судорогой сдавленной глотки. На пороге в белом саване стоял труп выброшенного из самолета англичанина и зеленой рукой безмолвно грозился.

— Аминь, аминь, рассысья! — прохрипел дьякон, дрожа от кончика носа до кончика большого пальца ноги.

Церковное заклинание не подействовало благоприятно, — скорей наоборот: труп сделал два шага вперед и о чем-то зашелестел смрадными губами.

— Отдай... отдай... — разобрал дьякон, а носом поймал запах тлена. Больше он ничего не пожелал разбирать: ему показалось — «отдай, отдай душу...» Если бы выходец с того света просил о чем-нибудь более материальном, куда ни шло!.. а то — «душу»?

С перекосившимся лицом дьякон прыгнул в окно и помчался вверх по горе, чувствуя, как зловонное дыхание хлещет его по плечам и голове ледяным бичом могилы. Гора отлого поднималась вверх. Каменистая почва ее была сглажена дождем, солнцем и ветром, и дьякон развил, благодаря этому, бешеную скорость. Он, конечно, не оглядывался, так как это сопрягалось бы с невольной задержкой; да и к чему было оглядываться, если могильный смрад ежесекундно увеличивался в интенсивности.

Как не лопнуло дьяконское сердце в самый острый момент преследования, остается загадкой!..

Когда гора перевалила на спуск, бежать стало легче. Ноги беглеца замелькали со скоростью 10-ти секундо-метров в час, то есть как спицы в велосипедном колесе, а сам он казался смутным метеором, сорвавшимся с темно-синего звездного неба...

У подножия горы дьякон потерял счет времени и память о первопричине бегства; оставался один смертельный животный ужас, гнавший его все дальше и дальше...

Перед ним открылась поросшая низким кустарником долина, которая, казалось, могла позволить еще большее

увеличение скорости. Но как только беглец вступил в нее, предательский кустарник ожил: коварно украшенные цветами и сочными черными ягодами, жгуты стали немилосердно драть, колоть и жалить его... Невинные с виду кусты оказались зарослями колючей ежевики и скорпиозной сарсапарели... Сначала они разделались с дяконскими брюками, затем добрались до кожи и ботинок... Дякон не чувствовал ни боли, ни усталости. Не видел, как кровавый след полосой оставался сзади него. Чувствовал только, что жуткий шелест смрадных губ неотступно близок...

Он вылетел из кустарника, имея на ногах красные чулки... Перед ним вдруг выросла зеленая шестиаршинная стена непроходимого «чертова дерева»... Ни курица, ни толстокожий буйвол не рискуют на прогулку сквозь густой переплет длинных крепких ветвей, усаженных грозными шилообразными терниями... Но «чертово дерево» непроходимым осталось в теории... в слепом ужасе дякон продрался сквозь него, претерпев жестокую метаморфозу, и предстал изумленным взорам бледнолицей луны в качестве краснокожего, одетого в красные лохмотья...

Не в силах сдержать бешеной энергии, да и не помышляя об этом, «краснокожий» с размаху угодил в бранчливые волны быстрой горной речонки. Вода завертела его, покидала вволю с камня на камень и вдруг скрылась в подземном русле.

Вдосталь наглотавшись студеной и прозрачной, как слеза, воды, дякон очнулся — и очнулся по-настоящему — когда речонка, превратившись в широкий поток, глубиною с полметра, заставила его больно стучаться коленями о каменистое ложе. Он встал на ноги и уже не услышал трупного смрада. Над ним простиралось черное небо с дыркой посередине. Через дырку изливался лунный свет.

— Я в пещере, — сообразил дякон. — Я счастливо отделился от мертвеца. Я более не вернусь в город. Я должен сделаться отшельником, чтобы замолить свои тяжкие грехи, и... и не помышлять более о Настаське... Перст божий привел меня сюда, он же должен вывести, когда я буду прощен...

Кривоокая Фемида требует отметить, что его благое намерение не звучало искренностью, иначе как согласовать то явление, что, нащупав под рукою уцелевшую детрютинную палочку, он облегченно вздохнул:

— Слава богу, палочка здесь...

Подземная пещера не удивила его. Слоняясь днем по городу, он встретил словоохотливого абхазца, который поведал ему о свойствах известковой, легко размываемой почвы сухумских окрестностей, о многочисленных подземных реках и необъятных малоисследованных пещерах. Радужный сын гор даже обещался сходить с ним в сталактитовую пещеру горы Аиквара, проникающую вглубь земли на целые версты, и в Человскую пещеру, находящуюся в 40 верстах к юго-востоку от Сухума и тоже имеющую громадное протяжение.

Наконец, дьякон осознал, что его тело изранено по всем направлениям, одежда превращена в жалкие лохмотья, а ботинки еле держатся на ногах. Что причиной тому заросли, «колючки» и «чертово дерево», ему не пришло в голову, — и не могло прийти, так как у него в воспоминании остались лишь прыжок в окно и подъем на гору.

— О, чертов англичанин, как ты меня отделал, ну-ка?! — пожаловался он лунным лучам в потоке.

Потом он выбрался из потока и побрел, держась около стены, по влажной мягкой почве, идущей под уклон. Чем более опускался подземный ход, тем жарче становилась окружающая атмосфера, а стена, которой ему приходилось касаться, местами была горячей. Сведения дьякона из области геологии не отвечали современному уровню знаний, и он в простоте душевной помыслил, что подземный ход близок к расплавленному центру земли. Но так как израненному и остуженному телу отнюдь не претила все более и более повышающаяся температура, — дьякон продолжал путь. Через полчаса он ткнулся рукой в горячий ключ, шумной струей выбегавший из стены. Здесь было жарко и парно, как в русской бане; под ногами хлюпала горячая жидкая грязь, но более удобного места дьякон не хотел искать и не мог. Растянувшись подле ключа, он в одно мгновение от-

дал целительному сну свою измученную душу и израненное тело. Сквозь сумбурную цепь сонных видений до его слуха изредка доходил откуда-то сверху проникающий отдаленный гул, — будто необъятная река катила над ним громадные массивы вод.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— До 8 часов утра мы должны освободиться, — твердо сказал Безменов, до того твердо, что Сипягин, вскинув на него широко открытые глаза, едко рассмеялся:

— Дуришь, парень!.. Это тебе — не киноroman с трюками, а мы не Тарзаны!.. Вон сколько до нас Тарзанов сидело — все истлели!.. — Он горько сплюнул в направлении пяти оскаленных черепов и злобно запыхтел папироской.

Безменов, с фонарем в левой руке, метался по круглой темнице, нещадно давя полуистлевшие кости; в правой руке он держал хорошо сохранившуюся бедренную кость и колотил ею по стенам во всех направлениях. Когда кость рассыпалась, он хватал другую:

— Мы должны освободиться! Должны! Должны! Должны!..

Если бы Сипягин удосужился оторвать от папироски свои омраченные очи и поднять их вверх, он увидел бы, что упорство его товарища отнюдь не из болезненного отчаяния. В глазах Безменова отражалась тяжелая, но не безнадежная работа мысли. Там шла борьба между собой — не на жизнь, а на смерть — разнородных умозаключений. Самое стойкое из них, справившись, наконец, с противоречивыми, выжило, и Безменов так формулировал его:

— Механизм, сдвигающий в потолке глыбы, — не в коридоре, его нет и у нас, его не может быть и на поверхности земли, так как над нами, я твердо уверен, находится

Никитская улица. Следовательно, этот механизм скрыт или рядом с нами, в толще стен, или под нами...

— Ничего не известно, — мрачно возразил Сипягин, который был больше человеком действия, чем размышления, и возражал он только потому, что ему не нравился молодой задор друга и трата слов впустую. — Под нами, рядом с нами, но может быть и над нами — в толще стен коридора...

— Нет, — упрямо тряхнул головой рабфаковец, — хотя в карте подземной Москвы этот каменный мешок не отмечен, но он, несомненно, древнего происхождения...

Не понимая еще, к чему клонит рабфаковец, Сипягин все же счел нужным опять возразить — из принципа:

— Ничего не известно. Если ты судишь по этим костям, то они могли истлеть так даже в течение 3-4 десятков лет...

Рабфаковец не упустил своей мысли:

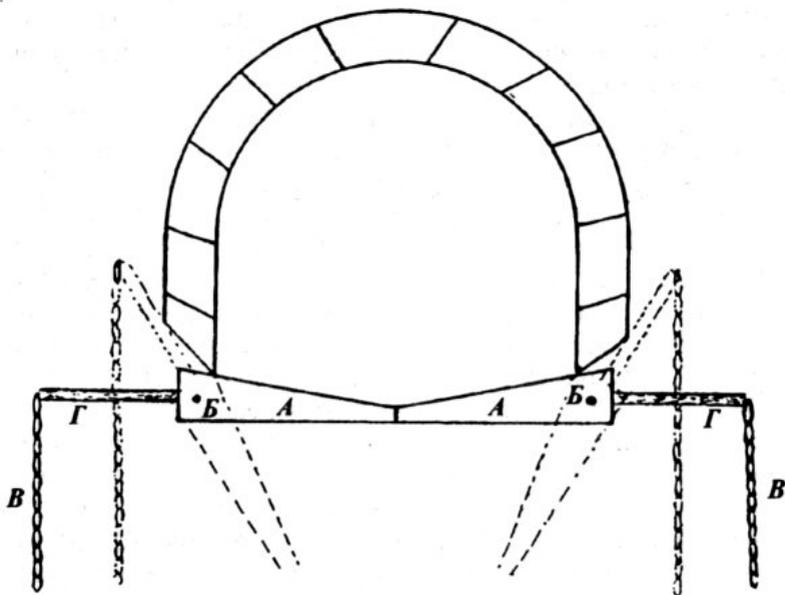
— Мешок — древнего происхождения... Посмотри: вон у того костяка в седалищных костях застрял наконечник стрелы. Наконечник, по всей вероятности, еще в бытность костяка живым человеком, вонзился ему в кости таза и там остался. Стрелы не употреблялись 30-40 лет тому назад. Сто пятьдесят — 200, наверное... Ну вот, значит, мешок происхождения древнего, а следовательно, и механизм его входа (а не выхода — потому что отсюда не выходили) должен быть простым механизмом...

— Ничего не известно... Ну, а дальше что?..

— Дальше?.. Я так представляю себе этот механизм. Смотри... — Он вынул карандаш и бумагу и быстро начертил:

— Вот это плиты или глыбы (он указал буквы «А» на рисунке), которые, вежливенько пропустив нас в мешок, снова сомкнулись. Они вращаются на металлических осях (на рисунке буквы «Б») — помнишь тот скрип?.. Ну вот... Размыкаются они в силу собственной тяжести, когда цепи («В») отпущены; эти рычаги («Г») тогда становятся в положение, обозначенное у меня стрелками, — рычаги, конечно, заложены в стенах коридора... Теперь, — помнишь, как лязгало и визжало, когда мы проваливались?.. По-моему,

это визжали цепи, заложенные в стенках нашей камеры — по двум сторонам ее. Очевидно, они идут вниз; поэтому я утверждаю, что под нами находится другая камера, откуда опускаются, когда надо, и снова натягиваются упомянутые мною цепи.



У Сипягина загорелась в глазах надежда, но он ее грубо потушил, когда взгляд его упал на зловещие белые кости.

— Ты думаешь, — сказал он угрюмо, — что вот эти пятеро были совсем без мозгов?.. Что они не пытались выбраться из треклятого мешка?..

Безменов рассмеялся:

— Я совсем не хочу обижать прах погибших товарищей по несчастью. Но... но они же были прикованы короткими цепями к полу... Они даже не могли встать... Между прочим, эти цепи, — он указал на пол, — лишнее подтверждение моей мысли. Почему они закреплены в полу, а не в стенах?.. Потому что их гораздо крепче и надежнее можно было закрепить оттуда, из предполагаемой мною нижней ка-

меры, чем откуда бы ни было. Снизу их можно укрепить на гайках, а если в стенах?.. В стенах гайками не закрепишь, туда можно только воткнуть или ввинтить, но это уж будет ненадежно...

— Ничего не известно, — снова возразил упрямый Сипягин, — их можно было хорошо закрепить и в стенах, если закладывать одновременно с кладкой стен...

— Верно, — согласился Безменов, ничуть не чувствуя себя разбитым, — можно и так, как ты сказал. Но так как цепи все-таки вделаны в пол, а не в стены, то... это уже совершившийся факт, против которого не попрешь и который лишний раз подтверждает мою мысль...

— Что мы должны делать? — вскочил Сипягин, мигом стряхивая свою флегму.

— Мы должны... — начал Безменов и оборвал, потому что отвратительный лязг вдруг повторился... Над головами раздвинулись глыбы, и через образовавшуюся узкую щель сильной струей в камеру хлынула вода...

— Это хорошо, — иронически молвил Безменов, — Сидорин оказал нам услугу. Я ясно слышал, в каком месте стены раздался лязг. Я теперь совсем убежден, что прав... Однако медлить нельзя...

Заключенные принялись с энергией ожесточения за кропотливую работу. Прежде всего, при помощи тех же бедренных костей, продетых в кольца, к которым были прикованы цепи, расшатали болты, идущие от колец вниз. Болты скоро поддались, так как скрепы или гайки, удерживающие их, должно быть, сильно проржавели. У каждого из заключенных в руках оказался крепкий железный рычаг длиной в три четверти аршина.

— Вот почему пол, когда я в него стучал, несмотря на то, что он служит потолком второй камере, — не издавал пустого звука: он слишком толст... — добавил Безменов.

С рычагами в руках, приятели принялись долбить стену в том месте, где ими был услышан лязг. В горячке работы они не заметили, что вода, продолжавшая литься через щель потолка и достигшая до колен, более не увеличивала своего уровня... Стена медленно уступала, но все-

таки уступала... Внезапно Сипягин, могуче замахнувшись, застыл с поднятой рукой.

— Голова?! — сказал он недоуменно. — Что же мы делаем, когда доберемся до цепи?! Постой, не молоти, послушай, что будем делать потом?..

— А, черт! — остановился Безменов и, сообразив, сконфузился. — Я так увлекся, что совершенно забыл об изменившихся обстоятельствах... Действительно, ведь мы не можем теперь открыть люка: вода затопит нас прежде, чем мы успеем выплыть... Да и выплывешь ли еще?.. Вот, черт, пиковое положение!.. Неужели Сидорин догадался или сумел подслушать наши планы?..

— Голова?! — снова воскликнул Сипягин. — Гляди: вода-то убывает, а не повышается...

— Я это уже видел. Ничего нет удивительного. Мы сделали с тобой две дырки в полу...

— Но тогда мы не так-то скоро погибнем, — обрадовался Сипягин, — мы можем сидеть и не рыпаться. Нас выручат: ведь товарищ Синицына догадается же что-нибудь предпринять...

Теперь омрачнел Безменов:

— Когда нас выручат?..

— Когда, когда? Да не все ли тебе равно. Через день, через два... Ну, хоть и через три, а выручат наверное!..

— Я должен быть свободен раньше восьми часов утра, — твердо сказал Безменов и предложил: — Давай выдернем остальные кольца...

Все пять колец, расположенные посередине пола, образовывали круг (вернее, пятиугольник) поперечником аршина в два.

Как только три последних кольца были извлечены вместе с болтами, на что потребовалось не меньше часа, вода из камеры стала быстро убывать и через полчаса еле покрывала щиколотки.

— Ну, и голова у этого парня! — простодушно восторгался Сипягин, поняв новую идею рабфаковца.

Они теми же болтами расширили, размолотили отверстия в полу, затем, действуя болтами, как молотом, стали

наносить дружные сильные удары в пятиугольник пола, образованный отверстиями.

...Уже энергия грозила иссякнуть, уже мышцы болезненно ныли и соленый пот катился по лицам струей, мало уступавшей в мощности струе воды, — и вдруг каменный пятиугольник, лопнув по краям, провалился вниз...

— Го-го-го!.. — ржал Сипягин.— С тобой, паря, не пропадешь! С тобой из чертовой печурки выйдешь невредимым!..

Рабфаковец лежал на полу, свесив голову в образовавшееся отверстие, и электрическим фонарем исследовал камеру. Вода из трещины потолка падала ему на шею, на волосы и мешала смотреть.

— Греготать будем потом, — сказал он недовольно, поднимая лицо к Сипягину и захлебываясь, — заслони воду-то... хоть своей спиной, а то слепит...

— Ладно, ладно, паря,— балагурил тот,— я для тебя не токмо спину, а что хошь...

Камера, представившаяся взорам рабфаковца, мало отличалась от верхней и «обставлена» она была так же «уютно»: та же форма, те же размеры, такие же скелеты, зловеще блиставшие белизной. Но она имела выход, чего не имела первая,— выход, полуприкрытый чугунной плитой, и ряд рычагов в одной из стен. Высота ее равнялась сажениам двум.

— Айда,— сказал Безменов, кончив осмотр.

Они быстро при помощи лучевых и локтевых костей соединили короткие цепи в одну длинную; при помощи же бедренной кости в один из углов отверстия зажали конец цепи и начали спуск.

Первым полез Сипягин, как более тяжеловесный и неуклюжий, — рабфаковцу пришлось придерживать конец цепи, чтобы она не сорвалась. Вторым быстро соскользнул вниз сам рабфаковец.

Вода во второй камере совершенно не задерживалась, — ручьем текла к выходу. По ее течению устремились освобожденные приятели.

Ход был длинный, но прямой. Безменов не останавливался ни на минуту.

— Сейчас три-четыре часа утра, — говорил он, — нужно успеть... Черт с ними, если у них есть в стене побочный ход. Мы после сюда вернемся...

Прошли еще полверсты, а конца не было. Местами приходилось пробираться под завалившимся потолком, но вода текла туда, шли смело и приятели. Местами брели по колено, по пояс и даже по грудь в воде. Ничто не останавливало их. Но вот, наконец, Безменов остановился.

— Глубже и глубже делается, — сказал он, — но пахнет рекой. И по моим соображениям, мы как раз должны быть подле реки... Нырнем, что ли?..

— Ничего не известно...— Сипягин до конца оставался верен себе.— Ничего не известно, однако нырнем...

Безменов набрал воздуха, подпрыгнул и исчез в воде. Несколько раз стукался головой. Полторы минуты протекли вечностью... Наконец, почувствовался простор, и тело пошло вверх.

Вслед за ним нырнул Сипягин.

— Думал: сдохну, — говорил он флегматично, когда оба они сидели под пролетом Большого Каменного моста на берегу Кремлевской набережной и вытряхивали из сапог лишнюю воду.

Заметно светало и свежело. Приятели зубом не попадали на зуб. Все мимо, однако трель выходила приличная.

— Н...надо б...бегом, — предложил рабфаковец, освободившись немного от воды и почувствовав необыкновенную легкость, в особенности в животе.

— Б... бежим...— согласился Сипягин.

Доброй рысью отмахали они всю Волхонку и всю Пречистенку прежде, чем согрелись. На Зубовской площади взяли извозчика.

— Айда к клиникам!.. Да скорей!..

Извозчик, опасливо покосившись на вымоченных друзей, энергично захлестал сивую кобылку.

У Сипягина на Б. Царицынской жил друг. У него они в три счета переменили одежду и на том же извозчике подкатили к клиническому городку. Просидев — один в дежурке врача, другой в садике около здания Психиатрической

клиники — до 9 часов утра, они так и не увидели никого. Никто не приходил за больным Востровым...

Рабфаковец, отпустив Сипягина, остался глубоко заинтригованным, но духом не падал.

— Дело не обошлось без фокусов, — думал он, — надо поглядеть больного...

Молодой очкастый врач почтительно, но без благожелательства проводил его в палату Вострова.

— У него, — сказал он, — депрессивная форма циклофрении — циркулярного психоза... Понимаете?.. Он находится сейчас в состоянии сильнейшего угнетения. Но он ничуть не опасен. Он почти здоров...

— Вот как?.. — удивился рабфаковец. — Значит, вы можете оставить меня одного — с глазу на глаз — с больным?.. Не беспокойтесь, я не причиню ему ни физического, ни морального ущерба.

— Пожалуйста, — согласился врач, почтительно, но без благожелательства пропуская рабфаковца в палату и закрывая за ним дверь.

Востров занимал один большую комнату-кабинет, изящно, почти роскошно, отделанную — с мягкой мебелью, с пушистым ковром и со стенами, обитыми мягкой толстой материей.

Совершенно не чувствовалось больницы. Если бы сам обитатель комнаты не сидел, согнувшись, в кресле — в позе черной меланхолии, если бы окно, у которого стояло его кресло, не было зарешечено чугунными прутьями, можно было бы подумать, что находишься в квартире богатого холостяка-оригинала, изолировавшего себя от внешнего мира в силу причуд буржуазной фантазии.

— Я к вам с серьезным предложением, Дмитрий Ипполитович, — тихо произнес рабфаковец, невольно подпадая под власть той тишины, которую обуславливали мягкая мебель и задрапированные толстой материей стены.

Больной не обернулся, не переменял позы, ни одним мускулом не выказал, что замечает чье-либо присутствие. Рабфаковец подошел ближе и без церемоний, в упор, принялся его рассматривать.

«Вот он какой, изобретатель! — пронеслось в его голове. — Личность довольно заурядная...»

Больной Востров представлял из себя человека лет 30, в меру полного, в меру высокого, в меру белобрысого. Его белесые глаза смотрели неподвижно без всякого выражения, причем один глаз был устремлен в окно, другой, под острым углом к первому, скользил мимо живота рабфаковца.

— Один на нас, другой в Арзамас, — отметил рабфаковец, не чувствуя большого почтения к изобретателю.

Оригинально в нем лишь одно: подбородок и нос тянулись друг к другу навстречу, и как на подбородке, так и на носу сидели застарелые угри — «акнэ розацэ», сказал бы медик.

Рабфаковец кашлянул. Раз. Никакого впечатления... Второй, третий.

То же... Тогда он, взяв второе кресло, опустил в него, поставив свои колена к коленам больного.

— Здравствуйте, Димитрий Ишполитович! Я пришел к вам поговорить относительно вашего детрюита...

Белесые глаза Вострова неожиданно сошлись в одну точку — в переносицу рабфаковца — и на мгновение загорелись гнилушкой. Во второе мгновение они опять разошлись и потухли.

— Я хочу вас взять на поруки, — упрямо продолжал рабфаковец, опуская свою руку на колено больного и бессознательно отмечая его сильную мускулиность. — У меня есть немного радиоактивной руды, из которой можно было бы выделить детрюит...

Рабфаковец заметил, что слово «детрюит» всякий раз заставляет глаза больного вздрагивать и из раскосого состояния переходить в нормальное.

— Я имею большие денежные средства, которые предлагаю вам для производства ваших опытов с детрюитом...

Опять Дмитрий Востров вздрогнул — одними только глазами, и рабфаковец снова отметил в них быстро преходящий блеск гнилушки.

— Детрюит, детрюит, детрюит... понимаете?

Дмитрий Востров вдруг преобразился, словно стряхнул с себя тяжелый сон, и в первый раз вполне сознательно взглянул на своего упрямого собеседника.

— Вы кто? — последовал вопрос, произнесенный голосом глухим и заставившим рабфаковца внутренне вздрогнуть: где я слышал этот голос?..

— Я — агент Политического управления,— отвечал между тем Безменов.— Имею к вам серьезные предложения от управления. Оно представляет вам средства для ваших ученых изысканий и, в частности, для выработки из радиоактивных руд детрьюита...

Дмитрий Востров туго соображал, но все-таки соображал:

— У вас имеются эти руды?.. И сколько их?..

— Точно не могу сказать, но не меньше нескольких тонн...

— Ну, и что же?..

— Мне врач сказал, что вы совсем здоровы... (Врач сказал: «почти здоров»),

— Я и не был больным...

— Пускай так... И что он может отпустить вас из больницы, если вас возьмут на поруки... Но у вас ведь, кажется, нет никого родных?..

— Да, нет...

— Ну, вот... Политическое управление берет вас из больницы и предлагает вам все то, что я уже сказал...

Востров слушал внимательно; взгляд его выражал нормальную работу мысли, разве только немного замедленную, и рабфаковец чуть было не усомнился в диагнозе врача. Вдруг Востров резко повернулся в кресле, поднял лицо кверху... Глаза спокойно, бессильно забегали по потолку.

— Вы слышите?..— зашептал он жутко, пальцем тыча в потолок. — Вы слышите: го-о-ло-ос...

— Да, я слышу, — отвечал рабфаковец насколько можно спокойней, — ну, что ж, что голос?.. Это за стеной...

Никакого голоса, между прочим, он не слышал.

— Он говорит: не ходи, не ходи... Тебя предадут, как евреи Христа...

— Ерунду порет ваш голос, — твердо возразил рабфаковец, — а уж если говорить вчистую: никакого голоса и не было. Вам послышалось... у меня чертовский слух, поверьте...

— Вы думаете, я галлюцинирую? — нахмурился Востров.

— Да, я думаю это... Долгое пребывание в такой мертвящей тишине кому угодно расстроит слух...

— Ну, хорошо, — угрюмо согласился больной, — я подам иск на врачей за порчу моего слуха...

— Да, мы это сделаем... А пока скажите: согласны ли вы выйти из больницы на домашнее лечение?..

— Согласен, согласен... Впрочем, один вопрос...

— Пожалуйста...

— Я буду располагать собой?..

— Вы будете иметь полную свободу...

Востров поднялся; рабфаковец невольно отметил, что для своего интеллигентского звания он имеет слишком мощную фигуру и широкие плечи.

— Значит, по рукам? — спросил Востров.

— По рукам, — улыбнулся рабфаковец и протянул ему руку.

Востров коротким сильным рывком потряхнул эту руку, а верный себе рабфаковец снова отметил: «у него ладонь мозолистая... Должно быть, при больнице существуют технические мастерские...»

— Ну, идите... Переговорите с моими мучителями-врачами, — хочу я сказать... А я пока соберу свои пожитки.

Рабфаковец вышел. У него в мозгу варилась каша из впечатлений от больного.

— Ну, как он показался вам? — спросил врач.

— По-моему, вы верно сказали. Он почти здоров...

— Ага!.. — догадался врач. — Наверное, голоса?..

— Да. Он немного погаллюцинировал в этом направлении... Долго это будет продолжаться?..

— Главный симптом циклофрении, — пожал плечами врач, — он исчезает последним, как появляется первым...

— Кстати, — спросил рабфаковец, — у вас здесь имеются какие-нибудь мастерские?..

— Как же, как же, непременно! Но Востров ни разу не изъявлял желания работать в них...

— Может быть, он работал у себя в комнате?..

— Н-нет... Читал, писал, и больше ничего...

Рабфаковец не выразил вслух своего недоумения по поводу свежих мозолей Вострова, однако спросил:

— Сколько времени находится у вас Востров?

— Около месяца, кажется... Сейчас я посмотрю... Да, около месяца... Точно: двадцать семь дней...

«Мозоли должны бы сойти за это время», — подумал рабфаковец и спросил:

— Вы разрешите мне взять его на поруки?.. На поруки Госполитуправления...

— Странно... — сказал врач и замолчал.

— Что странно?..

Врач колебался, не хотел, видимо, говорить, потом решился:

— Странно то, что вы второй сегодня, который хочет взять Вострова из больницы...

— А кто был первым и когда?

Врач чувствовал, что рождается какая-то неприятная история с этим Востровым, что Востров в чем-то замешан. Иначе при чем тут ГПУ?.. Но он и не подозревал, какая буря полыхала внутри этого стройного и по виду бесстрастного юноши!.. Он нехотя отвечал:

— Первым был его брат, явившийся в первом часу ночи с неизвестным гражданином... Брат сказал, что он только что приехал из Германии и, так как снова уезжает через два часа, то ему хотелось бы повидаться с больным... Сначала он даже хотел взять его с собой, но потом раздумал: очевидно, нашел его недостаточно здоровым...

— Вы уверены, что это был брат?.. Вы видели его документы?..

— О, господи! Зачем смотреть его документы, когда оба Вострова похожи друг на друга, как капля на каплю. Един-

ственная разница, что у нашего Вострова голос мягкий, а у его брата — грубоватый, глухой...

— А как выглядел этот неизвестный гражданин?..

— Личность — ярко-выраженная. Холодные стальные глаза, орлиный нос, резкий презрительный голос, гибкая фигура...

— Так-с... — попытожил рабфаковец свои тайные мысли.

— Все-таки я Вострова возьму и возьму сейчас.

— Как вам будет угодно, — отвечал врач, — покажите свои документы и распишитесь в книге.

Безменов быстро исполнил и то и другое.

Когда Дмитрий Востров покидал больницу, врач участливо преподнес ему несколько медицинских советов, но в ответ получил ледяное, угрюмое молчание. Очевидно, Вострову уже изрядно опостытели и все эти советы, и больница, и врачи.

Сидя на извозчике вместе с Востровым, рабфаковец говорил:

— Мне бы хотелось, чтобы вы поселились где-нибудь поближе к нам. Мы нашли бы вам квартиру... А то я уверен, что за вами будут охотиться...

— Я не боюсь охоты, — возражал Востров, — я сам с удовольствием приму в ней участие. Я поселись в своей старой квартире. Я к ней привык... Кроме того, помните?.. Вы обещали мне полную свободу...

Рабфаковец долго стоял на своем, но, в конце концов, сдался.

Распрошались они у церковного дворика, осеняемого святым лодырем Полувием.

— У вас есть деньги? — прямо спросил Безменов.

— Их у меня нет, — так же прямо отвечал Востров.

— Ну, вот вам на первое обзаведение... Сегодня вечером я буду у вас, и мы подробно переговорим...

— Хорошо. До свиданья. Буду ждать.

Когда Востров сжал ему руку, он еще раз проверил свое впечатление: мозоли, несомненно, были свежие.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— ... Я вспомнил этот голос. Я его слышал в подземелье. Он принадлежит лицу, которого Сидорин называл Аполлоном Игоревичем и с которым он собирался ехать на Кавказ... Я упустил птичку, но поймал крупного зверя... — кончил Безменов передачу своей ночной Одиссеей.

Васильев задумчиво побарабанил пальцами по спинке стула и спросил:

— Ты крепко уверен, что твой Востров — подставное лицо?

— Он такой же Востров, как я турецкий святой... — устало отозвался Безменов.

— Гм... Неубедительно. У тебя как раз в настоящий момент вид если не турецкого, то вообще святого.

— Не спал. Купался. Дрался. Изворачивался, — объяснил Безменов.

— Ты не боишься, что он может ударить?..

— Не удерет. Я и виду не показал, что заметил подмену. Я выказал к нему почти отеческую заботливость, снабдил его деньгами, предлагал квартиру...

— Но ты не проговорился случайно относительно наших планов?..

— Маленький, что ли?! Я ему набрехал, что у нас есть несколько тонн радиоактивных руд...

— Все-таки надо поставить к нему агентов, — сказал Васильев.

— Об этом я и сам хотел тебя просить... Единственно, что я жду от него — от этого Аполлона раскосого и прыщавого: что он укажет нам дорогу в главный штаб бандитов... Пусть агенты и днем и ночью стерегут дьяконский домик...

У Безменова веки отяжелели, глаза предательски смыкались; обычная четкость мыслей исчезала. Он боролся со сном только потому, что не успел еще всего передать, все предусмотреть.

— Ты лучше спрашивай меня сам, — предупредил он Васильева, — я, кажется, уже не в состоянии последовательно мыслить.

— Хорошо, — сказал Васильев, — вот тебе карандаш, подойди к карте и начерти на ней план подземной Москвы, у тебя он не улечутился?..

— Нет. Хорошо помню...

Безменов потратил на чертеж не больше десяти минут.

— Ну, еще что? — спросил он, покачиваясь от усталости и бессонницы.

— Сейчас я тебя отпущу. Сообщи только, где ты предполагаешь местонахождение их штаба.

— Должно быть, в том треугольнике зданий, который...

— ...К которому вел подземный ход? — перебил его Васильев.

— Да...

— Там его уже нет... Ты думаешь, мы бездействовали эту ночь?.. Синицына нам сообщила все, что знала и предпологала. И мы обследовали этот треугольник, перерыли каждую квартиру, спускались во все погреба... Мы, когда вода ушла из хода, обследовали ход, но он разрушен или водой, или взрывом. Нам не удалось далеко пройти... Бандиты, по всей вероятности, имеют другую квартиру, куда и перенесли свой штаб...

— А те трое, которых я тебе доставил ночью?

— Они замкнулись. Они немые, как черви. Надеются, что их выручат... Еще один вопрос: ты не боишься, что Сидорин немедленно удерет на Кавказ вместе с Востровым?..

— Не боюсь. Я думаю, что он сначала попытается выручить своего брата и всю остальную братию, затем ухлопать тебя и меня, чтобы мы ему не мешали.

— Ну, ладно, спи. Я разбужу тебя в шесть часов, чтобы ты не нарушил обещания, данного косому Аполлону.

Безменов не пошел на свою квартиру, а остался в здании ГПУ. Через две минуты он уже спал мертвым сном, восстанавливая силы для новой борьбы, которая обещала быть исключительно упорной.

Синицына ждала десять минут, двадцать, полчаса... Серело небо на востоке. В предутреннем воздухе свежий ветерок расшалился. Стало зябко. Синицына забеспокоилась. На земле подле нее распластался недвижимо тощий субъект — Савва-мечтатель. Сознание все еще не приходило к нему, но, все-таки, он связывал.

Внезапно из отверстия дуло сыростью — запахом не свежей воды. Синицына пустила туда сноп света и задрожала... В склепе бурлила, прибывая, желтая загнившая вода. Уровень ее повышался с катастрофической быстротой. Через минуту растерявшаяся рабфаковка принуждена была вскочить на ноги: вода забила из отверстия нарзаным ключом. Лежавший на земле Савва застонал, и Синицына явственно расслышала полубеспамятный шепот:

— Басманная, 16. Басманная, 16.

В следующую минуту рабфаковка, оттащив его к надгробному возвышению, прорезала темноту ночи тревожным свистком, а через 2-3 минуты мчалась на извозчике в ГПУ.

Васильев с злым помятым лицом по обыкновению сидел за своим столом и выделывал нижней челюстью рискованные повороты.

— Только что лег, черт побери, — угрюмо ворчал он, — хотел соснуть — не тут-то было!.. Ну, что у тебя?..

Васильев находился в состоянии хронической невыспанности. Каждый посетитель — приходи он утром, днем или ночью — неизменно встречал Начсоча ГПУ на своем посту и неизменно выслушивал унылую стереотипную фразу:

— Только что лег, черт побери!.. Хотел заснуть — не тут-то было!.. Ну, что у тебя?..

Человеку положено треть своей жизни проводить во сне. Из 24 суточных часов он должен 8 непрерывных отдавать сну. Васильев тоже человек, но, вопреки всем правилам логики, он едва ли больше одной восьмой своей жизни уделял теперь сну; ему он отдавал лишь те жалкие десятки минут, когда извозчик, трамвай или автомобиль несли его в дальний конец города для «накрышки контрика», поимки бандита, ареста подозрительного и тому подобного. Его сон складывался из длинного ряда оборванных минут, между

собою отделенных большими интервалами. Только один раз за всю свою многолетнюю работу в ГПУ Васильев спал подряд... 12 часов. Но это был уж, действительно, исключительный раз, и он надолго оставил в душе чекиста неизгладимо приятный след. Это случилось, когда он «вляпался» в лапы эсеровской банды и просидел у нее ровно 13 часов под замком в смрадном сыром погребке в преддверии неминуемой смерти. Ну уж зато он всхрапнул!.. Крысы в это время отгрызли у него кончик уха и начисто съели подметки сапог...

Васильев был дьявольски недоволен, когда ребята из ГПУ накрыли бандитов и прервали его блаженное состояние.

Когда Сеницына срывающимся голосом поведала о событиях прошедших часов, от злого заспанного вида Васильева не осталось и следа.

Раз, два, три — понеслись стрелы-приказания во все концы города, протянулись нити в особняки нэпманов и в хитровские трутцобы... Заволновалось здание, покрылось огоньками; бесшумные тени заскользили во мраке ночи и обратно.

Успокоенная Сеницына отправилась домой.

Она спала час-два, не больше. Вздрогнув, проснулась.

— Что такое?.. Ах, да, Безменов. Неужели не вывернется парень?..

Над головой крадущаяся, беспокойная поступь. Над головой — комната Безменова. Возня... Вот от чего она проснулась...

Поспешно оделась рабфаковка. С револьвером и фонариком поднялась на третий этаж.

У Безменова гости были и исчезли, оставив после себя хаос в его вещах, в шкафу и на постели... Постель холодная. Не возвращался Безменов... А что нужно было гостям?.. Что им нужно?..

В квартире Аммонита-гориллы поселились два рабфаковца. Там телефон. Сеницына к нему.

— Ноль, ноль... ГПУ.

— Кого надо?..

— Дайте Васильева.
— Кто говорит?..
— Сеницына...
— А-а-а... Ну что там?.. Только хотел соснуть — не тут-то было!.. Чего тебе?..
— Безменов как?..
— Нет еще Безменова...

Сеницына повесила трубку, а вместе с ней и буйную голову... Вдруг глубоко под сознанием явственный шепот:

— Басманная, 16... Басманная, 16...

Что это?.. Ах, Савва-мечтатель... Как же я забыла?.. Надо сообщить Васильеву...

Снова взялась за трубку, но раздумала:

— Поеду сама. Пусть спит. Может, ерунда...

А в тайниках сознания:

— Ну, попадитесь, гады!.. Жизни не пожалею!.. Чтоб моего Ваньку?!

Зловеще блестят черные глаза и супятся сурово крылья бровей. Холодный браунинг через крепкую руку льет жестокий порыв... Это уж не прежняя веселушка-рабфаковка.

Собственно, не имеет она никакого права идти в столь опасное предприятие. И никто не похвалит ее за своеволие; скорее, даже напротив. Ведь может статься, попадет она в самое воронье гнездо... Нерешительность закрадывается в омраченную душу: «имею ли я право? Имею ли я право?..»

— Тпру... Куда ехать-то? — вдруг останавливается извозчик.

Впереди железнодорожный мост, — переезд на Старо-Басманную.

— Тебе новую или старую? — спрашивает извозчик.

— Постой, — говорит Сеницына, — я здесь слезу...

Она расплывается и переходит мост.

— В самом деле?.. Савва не сказал, какую Басманную он имел в виду...

— Пойду по старой. Здесь 16 номер близко...

Слабо мерцает единственный фонарь во всей улице — напротив церкви «великомученика» Никиты. В затаенных

местах шныряют темные личности. Милиционеров не видно.

Рабфаковка, сжавшись, проходит мимо церкви в светлом кругу фонаря. Смотрит номер следующего дома — «18»? Хочет повернуть обратно и замечает: за нею следят. Следят с противоположной стороны улицы.

С решительностью, на которую способны только женщины — и то не все, — она храбро шагает через улицу, к темной личности, прижавшейся в нише парадной двери.

Личность, очевидно, предполагает, что ее не видно, но луч яркого света, блеснувший в руке женщины в кожаной куртке, озаряет ее с ног до головы. Субъект в хорошем пальто, с бородкой под Генриха Четвертого, щурит узкие глаза, дергает мышцами лица.

— Вам чего, мадам? — спрашивает хрипло-зло.

— Ищу номер дома...

— А вам какой надо?..

— Двадцать пятый...

— Фью... — свистит бородка. — Это далеко... хотите, я вас провожу?.. Мне по пу...

— Лишнее... — обрывает женщина в куртке и шагает дальше.

«Это не наш... — без всякого колебания решает она и потом: — Кажется, я на верном пути...»

Двадцать пятый номер ей так же нужен, как человеку вообще — червеобразный отросток.

Басманная кончается. Субъект отстал: в его задания не входило следить за всеми прохожими. У него — определенные задания...

Это соображает рабфаковка и снова перебегает на четную сторону.

Темный переулок. Им она когда-то ходила в ячейку автомастерских. Им снова можно пройти к началу Басманной, к церкви.

Идет быстро, деловито. От горячей руки браунинг вспотел и согрелся.

Поворот направо. Переулок загибает дугой. Высокие дома и отчаянная грязь. Темь сгущается, хотя на небе розовеют тучки.

...Сердце стукнуло тревожно: на тротуаре черная живая масса; будто прыгнуть собирается...

Рабфаковка не хочет пользоваться фонарем, переходит на мостовую. Браунинг на «огне» в вытянутой руке. Масса неподвижна, но сопит. Наступательных тенденций не обнаруживает.

— Даешь дальше!.. — подгоняет себя рабфаковка, шагая посреди улицы, по лужам.

Справа вырастает массив церкви. Никита «великомученик» осеняет ее своею благодатью...

Вдруг рядом с церковью скрипит дверь; полоса света провозжает фигуру на улице. Фигура тонет во мраке. Слышно — шаги к Басманной.

Окаменевшая рабфаковка раз окаменеваает и движется к захлопнувшейся двери. На одну секунду луч фонаря пляшет на воротах. Номер 16/2.

— 16 — по Басманной, 2 — по переулку... — Синицына довольна: она у цели. Но что делать дальше?.. Дом — церковный. В церковных домах ютится всякая мерзость; строятся козни против власти Советов.

В первый раз закрадывается основательное сомнение: что может сделать она одна?.. А если здесь гнездо банды?.. Если масса, сзади оставшаяся, шпик?.. Нужно было ее осветить...

Но отступать поздно. Собственно, не поздно, а стыдно. Кроме того, здесь могут скрываться убийцы Ивана...

Последняя мысль хлещет по сознанию, рвет огненной полосой туман сомнений, и рабфаковка решительно поднимается на невысокое крыльцо подъезда.

Легкий рывок за ручку двери... Дверь открывается... Подозрительно в высшей степени... Почему дверь не заперта? Почему — не заперта?..

В одной руке — револьвер, в другой — фонарь. Синицына входит внутрь. Дверь оставляет открытой.

Впереди — сгусток ночи, сзади — посеревшая улица... На улице — осторожное шарканье... по лужам. — К подъезду. — Шаги по крыльцу... — Тень заслоняет дверь. — Защуршали в кармане спички...

Рабфаковка берет инициативу на себя, а в груди сердце, как связанный голубь... Вздрагивает луч, вырвавшись из заточения. Черная бородка под Генриха Четвертого... В висок бородки, прежде чем она успевает открыть рот, ударяется рукоятка револьвера... Гаснут узкие глаза, отвисает челюсть... Рабфаковка сует фонарь в карман и падающее тело подхватывает на лету. Опускает на пол без шума и закрывает дверь.

В напряженном мозгу бегают молнии-мысли:

— А дальше?.. Куда?.. Не делает ли она ошибки?.. Эх, если бы здесь был Ванька... Ванька?.. Где Ванька?.. Не остался ли он там, в гнилом подполье? О, дьяволы!.. Только бы до вас добраться... только б добраться...

Жалость, скорбь, жажда мести, десятки других, отнюдь не противоречивых чувств вспыхивают в груди из тлеющей искорки; разгораются пожаром... Синицына стискивает зубы и, очертя голову, устремляется вперед...

Веревка, протянутая на уровне лица, больно режется в кожу. Заставляет отпрянуть. Останавливает.

— А если это сигнальная?.. Вроде той нитки, что в подземелье?..

Синицына пятится к выходной двери, пока не задерживается около бесчувственного тела.

Текут минуты... Тишина не нарушается ни звоном, ни голосами, ни тревожной суетой. На улице моросит дождь. Все более и более сереет небо. С Басманной доносятся свистки милиционеров. Впереди — тьма и жуткое неизвестное, сзади — начало будничного дня.

— Вперед!..

Веревка с обоих концов укреплена на гвоздях в стене.

— Попадья белее сушит... — Синицына усмехается и чувствует прилив отваги.

Веревка дает хорошую мысль:

— Ведь «бородка» может очнуться... Опасно оставлять его позади.

Она снимает веревку с гвоздей и крепко скручивает ею неподвижное тело по рукам — по ногам. Плюс к этому — затыкает рот платком.

Дверь, ведущая внутрь, также без запора. Через нее проникают обрывки разговора. Не беда, если дверь скрипнет. Но она не скрипит.

Рабфаковка сначала просовывает голову. Перед глазами — передняя, на стене — трюмо, против него — вешалка с поповскими хламидами. В окно брезжит рассвет. Слова разговора отчетливо слышны. Разговаривают за следующей дверью.

— Батюшка, уверяю вас: вам не грозит ни малейшей опасности... Я третий год здесь. Делаю свои дела и все время вожу Чеку за нос...

— Посмотрим, кто ты есть... — бормочет рабфаковка и, войдя в переднюю, прищуривает глазом к замочной скважине.

Говорит человек с хищным носом и презрительно-властными глазами. Против него сидит поп — самый обыкновенный толстый столичный поп, за время революции немного обрюзгший и проглотивший что-то кислое. У попа в фигуре, в лице, в трясущихся руках, нетерпеливых движениях — боязнь и недоверие.

— Охотно вам верю, — говорит он, окая по-божественному, — охотно верю... Знаю вас за истинного поборника веры православной, за непреклонного и неутомимого... и неуловимого врага окаянных большевиков, но все-таки... Все-таки хотелось бы, чтобы моя скромная обитель была, так сказать, лишена неприятных возможностей, которые могут вредно отразиться на моем сане и положении, которое...

Человек с хищным носом грубо перебивает:

— Бояться вам абсолютно некого и нечего! Единственный человек, который представлял для меня некоторую опасность... очень малую... сегодня устранен. «Обитель» ваша, если позволено так выразиться, денно и ночью охра-

няется надежными людьми — моими товарищами по партии... Вы, — добавляет он с отрывистым, злым смехом, — теперь находитесь в социал-революционном окружении и должны чувствовать себя, по крайней мере, как у Христа за пазухой...

Человек с хищным носом великолепно понимает, что трусливого и блудливого попа ему не переубедить. Поп так же хорошо знает, что всякое его выражение разобьется о презрительный блеск прищуренных глаз «этого дьявола в образе человека». И тем не менее оба они барахтаются — один в нападении, другой в защите.

— Я, уважаемый Борис Федорович, только тогда почувствую себя «у Христа за пазухой», когда вы уберете от меня этого сумасшедшего молодца и когда ваше «окружение» будет снято. До тех пор...

— Хорошо! — холодно восклицает Борис Федорович и ударяет рукой по столу, давая этим понять, что разговор окончен. — Мы здесь пробудем максимум три дня. Затем уедем на Кавказ. Вы довольны?.. Скажите: «Да. Я доволен»... «Да. Я доволен»...

— Да, я доволен,— как эхо, повторяет поп. Потом стряхивает с себя гипнотическое оцепенение и вздыхает: — Мало ли что может случиться за эти три дня...

Как бы в подтверждение его слов — в передней за дверью раздается грохот, возня, испуганный голос женщины и язвительный мужской голос:

— Попалась, голубушка!

Дверь распахивается от пинка ногой, и изумленным взорам попа является картина: здоровенный мужчина держит в своих объятиях женщину в куртке. Женщина бледна, но глаза ее сверкают гневом и яростью.

— Подслушивала! — восклицает мужчина, волоча к человеку с хищным носом свою жертву. — Подслушивала у дверей!.. А Аветика ухлопала — в сенцах лежит без сознания...

Поп чуть не падает в обморок. Сидорин вскакивает со стула и хищной поступью приближается к женщине в куртке, фиксируя ее заострившимся взглядом.

— Пусти ее, — говорит он хрипло и вытаскивает из кармана револьвер. — Это из их компании...

Здоровенный мужчина ловко, по-профессиональному, вывертывает рабфакровке руки назад и связывает их концом длинной веревки.

Рабфакровка не пытается сопротивляться. Ненависть класса изливает она через горящие глаза на всю гнусную компанию.

Сидорин запускает в карман ее куртки руку и извлекает оттуда фонарь и билет РКП.

— А револьвер был? — спрашивает он резко.

— Был-с, — отвечает мужчина робко. — Я ее ударил по руке — револьвер выпал... там-с валяется...

— Присаживайтесь, мадам... — С изысканной вежливостью Сидорин подставляет ей стул.

Рабфакровка отвечает презрением, а он бегло читает билет:

— Партийный стаж с 1918 года... Год рождения 1898-ой... Сеницына Мария Степановна...

— Ну-с, Мария Степановна, я, конечно, не буду спрашивать о целях вашего визита... Не правда ли, они ясны?.. Так-так... Молчите?.. Хорошо делаете... Батюшка, чуланчик, который я сегодня осматривал, свободен?.. Свободен, да?..

— С...свободен... — заикается поп.

— Семен Николаевич, давайте ее сюда...

Семен Николаевич — здоровенный мужчина — с угодливой поспешностью тащит пленницу через внутренние двери.

Ей связывают ноги, рот затыкают платком и бросают в темный чулан. В виде напутствия Сидорин произносит с язвительным смехом:

— А за партбилетик спасибо!.. Воспользуемся!..

Потекли мучительные часы заточения. Рабфакровка ни одной минуты не сомневалась, что ее участь будет участью погибшего «борца со случаем» — Ивана Безменова.

В восемь часов вечера в дом «великомученика» Никиты пришел Аполлон Игоревич — двойник изобретателя Вострова. Увидев его, Сидорин схватился за револьвер.

Он не сразу поверил, что за Аполлоном не следуют чекисты, но и убедившись в их отсутствии, все-таки послал своим агентам предупреждение: особенно зорко следить за домом и прилегающими к нему улицами.

Когда они уединились в отдельную комнату, первые слова Аполлона были:

— У меня только что состоялось свидание с Безменовым...

Ярость Сидорина по поводу спасения ненавистного рабфаковца вылилась на голову ни в чем неповинного Аполлона. Успокоившись немного, он подверг своего соратника самому оскорбительному допросу.

— Когда вы освободились из клиники? — задал он грозно первый вопрос.

— Около девяти часов утра... — отвечал перетрусивший Аполлон.

— Кто вас освободил?..

— Безменов. Он взял меня на домашнее лечение...

— Уверены ли вы, что Безменов не разгадал подмены?..

— О, вполне уверен... Я вел себя артистически..

— Расскажите, как вы себя вели?.. Расскажите с самого начала...

— То есть?.. не понимаю...

— Ну, черт подери, какой разговор имели вы с Безменовым в клиниках?

— У нас разговор походил на тот, который вы имели с Востровым. Я держал себя так, как держался при нас Востров. Сначала я был неподвижен, потом при слове «детрюит» стал вздрагивать, потом сделал вид, что пришел в себя, потом повторил историю с голосами. Ну и так далее...

— А врач? Врач не обнаружил подмены?

— Думаю, что нет. С ним я не разговаривал. Ведь вы знаете, что меня и Вострова можно отличить только по голосу.

— Задавал он вам вопросы?

— Он мне давал медицинские советы, но я упрямо молчал и делал вид, что ненавижу всех врачей с их вопросами и советами.

- Где вы поселились?
- В квартире Вострова.
- Как вела себя дьяконица?
- О!.. — Аполлон в первый раз засмеялся. — С ней мы быстро поладили... Восстановили те отношения, которые оставил после себя мой двойник...
- Когда у вас был Безменов и что он говорил?
- В шесть часов вечера, как обещал. Он принес с собой образец урановой руды, которой будто бы у них имеется несколько тонн... Это так называемая урановая смоляная обманка, и я сомневаюсь, что из нее можно выделить детрит: радий — да, но не детрит.
- Вы ему это сказали?
- Я не счел нужным скрывать. Я категорически заявил, что это не та руда, которая мне требуется.
- А он?..
- Он сказал, что, должно быть, перепутал и взял не ту руду. Возможно, говорит, что она смешана. Обещал завтра утром сводить меня в место хранения ее...
- Когда вы направились сюда?
- Через час после его визита.
- Уверены ли вы, что за вами не следили?
- Наоборот, я именно уверен, что следили. Но я одурачил их. Я на ходу перескочил с трамвая на извозчика, а с извозчика незаметно прыгнул в темном переулке...
- Где вы прыгнули?
- На Мясницкой улице.
- Потом вы следовали пешком?
- Да. До Садовой. Потом опять вскочил на трамвай.
- Видали ли вы наших агентов?
- Меня три раза останавливали. А в последний раз, перед самым домом, чуть не закололи кинжалом — черт Аветик...

Последним Сидорин остался очень доволен и прекратил допрос. Он встал и зашагал по комнате, всем своим видом показывая, что напал на новую, блестящую идею.

Аполлон осмелился нарушить молчание:

— Как поживает мой двойник? Имеется ли надежда на его выздоровление?

— Он здоров, — твердо ответил Сидорин, продолжая шагать. — Он абсолютно здоров. Медицина не верила в его изобретение и тем поддерживала в нем болезнь. Я же предоставил ему все необходимое для изысканий и, несмотря на то, что он круглые сутки сидит в заточении (я его никуда не выпускаю), от его болезни остались одни воспоминания... Болезнь, как он говорит, уничтожила у него только память о точном местонахождении детритных руд, но он уверен, что ему удастся восстановить забытое по географическим картам. Сейчас он этим и занят.

Сидорин многозначительно помолчал, потом, кивнув: «Подождите здесь», — вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся в сопровождении связанной женщины. Женщина шаталась на ногах и с трудом переносила яркий свет электричества.

— Кто это? — спросил оробевший Аполлон.

— Товарищ Сеницына, член РКП, познакомьтесь... — грубо отвечал Сидорин; толкнул рабфаковку в мягкое кресло, а сам уселся в другое напротив нее.

— Вы знаете номер телефона господина Безменова, — начал он не вопросом, а чеканно-твердо... Его глаза как два стальных блика выделялись на бледном лице.

— Ну, положим,— отвечала Сеницына и подумала: «Кажется, он хочет разыграть роль Мабузо...»

— Сейчас вы позвоните Безменову и с милым смехом предложите ему прибыть сюда.

— Я этого не сделаю.

— Вы сделаете это. Сделаете вы это? Ну?..

— Да, я сделаю... — вырвалось вдруг у побледневшей Сеницыной.

Аполлон заерзал на стуле, пораженный и отчаянным планом своего соумышленника, и его гигантской силой внушения. Вообще же, он предпочитал бы не присутствовать при визите Безменова.

— Вы позвоните, — продолжал Сидорин, не опуская отливающего холодным металлом взора, — и скажете: «Ваня,

у нас здесь, на Старой Басманной, 16 собралась своя компания. Если хочешь провести весело время и узнать кое-что интересное по поводу детрюита, приезжай немедленно...» Повторите, что вы скажете?

Синицына, слово в слово и точно соблюдая интонации голоса Сидорина, повторила фразу.

— Кроме того, вы будете зазывчиво смеяться... как вы будете смеяться?

К вящему изумлению вконец оробевшего Аполлона, женщина в куртке покорно рассыпалась дразнящим звонким смехом.

— Ну, действуйте,— благословил Сидорин и развязал рабфакровке руки.

В точности исполнив то, что от нее требовалось, Синицына в изнеможении опустила в кресло. Безменов ответил и быстро согласился на немедленное посещение дома номер 16 по Старой Басманной улице. Он не выразил, по крайней мере по телефону, ни малейшего удивления.

Сидорин, внимательно прослушав шантажный разговор, вызвал по второму телефону — домашнему — свою агентуру.

— Минут через двадцать, — зачеканил он невидимому абоненту, — ко мне должен прибыть Безменов... Смотрите зорко... Если он будет один, пропустите его без задержек, не давая повода к какому бы то ни было подозрению. В случае же, если за ним будут следовать чекисты, — с последними бесшумно расправьтесь, а Безменова все-таки пропустите. Если чекистов будет много, немедленно сообщите мне и без меня ничего не предпринимайте. В первых двух случаях, после того, как Безменов войдет в дом, вслед за ним пришлите двух агентов... Понятно? Повторите, что я сказал.

...Синицына ни одной минуты не испытывала того, о чем говорил ее будто бы разбитый вид. Она просто «играла», как неоднократно играла на сцене Пролеткульта. Что же касается Безменова, то она слишком хорошо знала этого «борца со случаем», чтобы, хоть на мгновение, сом-

неваться в его поведении. Немного смутил ее лишь последний сидоринский разговор.

«У него чертовская организация...» — подумала она с легкой дрожью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда Безменова позвали по телефону, он сидел в своей комнате, терзаясь загадочным исчезновением Сеницыной и тем, что за подставным Востровым не удалось проследить.

В телефонной трубке он с удивлением узнал голос пропавшей рабфаковки Сеницыной. Но она говорила как-то странно, монотонно и при этом смеялась так, как ему никогда не приходилось слышать. Тем не менее свое согласие он дал, не задумываясь.

— Сейчас приеду, — сказал он, в то время как его чуткий слух ловил посторонний голос, бурчащий рядом с голосом Сеницыной.

Станным было еще то, что обстоятельная рабфаковка не сказала, у кого происходит это подозрительно-веселое собрание, кто присутствует, где искать дом номер 16, чью квартиру и тому подобное.

И все-таки он поехал, не медля ни минуты. Взял автомобиль, чтобы выгадать время и прибыть раньше того срока, в который его могли ожидать.

Спускались сумерки. Надвигалась вторая ночь, как и первая, не обещавшая пройти спокойно.

Безменов отпустил автомобиль в конце Покровки. Здесь было пустынно, лишь трамваи пролетали изредка с грохотом и звоном.

На правом углу земляного вала и Покровки ему показалось, что бородатый хозяин газетного киоска смотрит на него чересчур внимательно, и он подошел к нему, спросив «Правду» за вчерашнее число. Хозяин чересчур растороп-

но стал рыться в кипе газет, а Безменов обнаружил в киоске присутствие телефона. Когда хозяин протянул руку с газетой, — а под газетой кинжал, — Безменов направил на него револьвер и попросил не волноваться. Одним прыжком он перемахнул через прилавок — продавец вздумал защищаться и упал с поврежденным черепом без единого стога.

Телефон не был городской проводки. Безменов свистнул милиционера и, показав свою карточку, попросил его посидеть в киоске около телефона.

— Если будут что-либо спрашивать, — сказал он, — говори, мол, все спокойно...

— Хорошо, — невозмутимо отвечал милиционер, — а с этим что делать? — Он указал на тело бородатого продавца.

— Свяжи его и заткни рот.

Безменов направился дальше. Пройдя квартал, он заметил, как из окна одного дома высунулась и спряталась голова подозрительной личности.

«Черт возьми, — подумал он, как некогда подумала Синицына. — Здесь дьявольская организация». — И вдруг, как подкошенный, свалился посреди улицы, учтя ее абсолютную безлюдность.

Через две минуты скрипнула дверь под тем окном, откуда выглядывала подозрительная голова. К Безменову, нелепо раскинувшемуся на мостовой, подошел субъект в гороховом пальто, но когда он с деланным участием склонился вниз, железная рука сжала его горло.

— Ни одного слова! — произнес суровый голос. — Подними меня и отнеси в свою квартиру.

Субъект, трясясь всем телом, безмолвно, хотя и с громадным трудом, поднял тяжелого рабфаковца, который не снимал тисков с шеи, и втащил его в двери своей квартиры.

Здесь рабфаковец окончательно ожил и опять прибег к помощи револьвера.

— Веди меня к телефону, — приказал он.

«Гороховое пальто» был до того ошеломлен, что и не подумал сопротивляться. Он трепетал, как пламя на ветру,

не сводя остекленевшего взора с фатально блиставшего дула. Пятясь задом, он вошел в комнату, в которой, действительно, находился телефон.

В ту же секунду раздался звонок, и сердитый голос забурчал в трубке. Безменову этот голос был знаком.

— Сними трубку, — зловещим шепотом сказал он своему проводнику, — и отвечай так, как будто ничего не случилось. Если у тебя, хоть чуточку, задрожит голос, пушу пулю в затылок...

Безменов, не прибегая к гипнозу, умел говорить внушительно.

— Ну, как дела, Лицкий? — раздалось в трубке.

— Все благополучно... — отвечал «гороховое пальто», он же Лицкий, боязливо косясь на черное дуло.

— Есть на улице прохожие?

— Нет, Борис Федорович, никого нет.

— Смотрите внимательней. Предупредите еще раз остальных.

— Я только что звонил, Борис Федорович... Все благополучно...

Безменов оттащил исполнительного Лицкого от замолкнувшей трубки в конец комнаты и, все еще не опуская дула, спросил резко:

— Где размещены остальные? Говори быстро и говори правду... Сидорину сегодня капут... Если совершь, вернусь — убью без разговоров...

Лицкий уже пришел в себя и попытался осмыслить положение, прежде чем отвечать. Но железная рука не ждала — снова стиснула горло.

— Не скажешь — умрешь сейчас...

Безменов совсем не шутил: все более и более выпячивающиеся глаза Лицкого служили тому доказательством.

— Пустите... — наконец прохрипел он. — С... скажу...

— Ну! — Рука слегка освободила горло.

— Один в подъезде бывшего коммерческого училища, там дежурит...

— В каком подъезде? В парадном?

— Да...

— Он один или со швейцаром?
— Один. Он сам за швейцара...
— Дальше?
— Другой в воротах дома номер 10 по Старой Басманной...
— Дальше?
— Третий в Никитском переулке, в окне дома напротив церковного...
— Дальше?
— Все... под моим началом больше нет никого...
— Неправда!.. — Железные тиски снова сдавили горло.
— Пустите... пустите... скажу...
— Ну?
— Я не хотел говорить о том, что сидит в киоске. Вы его уже прошли...

— Ага, — перебил Безменов, — знаю, — и, положив в карман револьвер, он артистически вывернул Лицкому руки назад.

Через две минуты «гороховое пальто» лежал, заботливо опутанный своими собственными веревками, обнаруженными рабфаковцем под его кроватью, со ртом, заткнутым его же собственным платком. Часть веревок и два полотенца рабфаковец захватил с собой.

У него в запасе оставалось только десять минут. Нужно было действовать по НОТу, чтобы успеть обезвредить еще трех сторожей, прежде чем Сидорин догадается и поднимет тревогу.

К счастью, мимо пробежал трамвай. Безменов на ходу вскочил, на ходу показал скандализованному кондуктору свою книжку и, промчавшись в полувисячем положении через переезд, соскочил как раз против парадного крыльца бывшего Коммерческого училища.

Солидный швейцар сразу узнал его, но к телефону добежать не успел, неожиданно пораженный кулаком в затылок. Связывать его у Безменова не было времени. Он ограничился лишь тем, что перерезал в трех местах телефонные провода, оттащил швейцара в чуланчик под лестницей и запер его там на задвижку.

Дом номер 12 находился наискось от училища. Это было ветхое двухэтажное здание, посредине имевшее старые дырявые ворота. Рабфаковец правильно учел, что здесь телефона не будет, и, смело, не скрываясь, устремился к воротам... Однако там никого не застал. Ничуть не смутившись этим, он бросился бежать внутрь двора и увидел человека, перебирававшегося через забор. В три прыжка он очутился подле него. Скомандовал:

— Слезай!

Человек и глазом не повел, несмотря на револьвер.

— Слезай! — грозно повторил рабфаковец и, не дожидаясь более, сдернул человека с забора. Затем он употребил свой испытанный прием, слагавшийся из собственного кулака и чужого затылка.

Время шло. С каждой новой минутой надвигалась темь. Сидорин мог почуять неладное, не получая с наблюдательных пунктов извещения. Рабфаковец оставил оглушенного человека на том месте, где он упал, и выбежал на улицу.

Не его вина, что с последним сторожем произошла неприятность. Если бы ему дали 2-3 лишних минуты, этого бы не было. Третий сторож и последний, свесив голову из окна второго этажа, упорно наблюдал за крыльцом противоположного дома — за крыльцом поповской обители, осеваемой «великомучеником» Никитой.

Рабфаковец, несмотря на темноту, заметил эту голову, едва повернув на Никитскую. Не останавливая гимнастической рыси, он поднял с земли крупный булыжник и на бегу запустил его в сторожевую голову. В общем прицел был взят хорошо и сила рассчитана правильно, но голова в самую последнюю секунду дернулась, заслышав урчащий в воздухе камень. Камень все-таки сразил жертву, но жертва успела громко крикнуть, прежде чем впала в бессознательность... Рабфаковец с револьвером в руке кинулся к церковному крыльцу.

Дверь крепкая и на солидном запоре... Тогда, не желая больше мешкать и скрываться, он ударом кулака вышиб ветхую оконную раму и прыгнул в темную комнату.

Сидорин ждал десять, пятнадцать, двадцать минут, затем стал выказывать признаки беспокойства. Когда он позвонил в одно место и не получил ответа, позвонил в другое, третье, и не получил ответа, Сеницына, находившаяся в той же комнате, решила действовать, женской интуицией поняв растерянность врага. У нее были связаны только руки, о ногах и Сидорин, и насупившийся Аполлон забыли. И вот, когда соумышленники начали переглядываться между собой особенно многозначительно и тревожно, она вдруг вскочила и бросилась бежать... Расположение комнат она запомнила хорошо. Ее цель заключалась в чуланчике, служившем для нее темницей — в нем можно было запереться изнутри и внести, таким образом, замешательство в неприятельские ряды... Возможно, что в этом замешательстве нуждался Безменов.

Толкаясь, мешая друг другу и чертыхаясь, в погоню за ней пустились оба бандита. Сеницына опередила их шагов на пять, но в горячке бегства пронеслась мимо намеченной двери и попала в соседнюю, где за письменным столом сидел массивный человек.

— Скорее! — крикнула она ему, ни на что в общем не рассчитывая, так как сейчас же поняла свой промах. — Скорей запирайте дверь: бандиты!..

Массивный человек совершенно неожиданно обнаружил необыкновенное участие к судьбе рабфаковки: сорвавшись с места, он защелкнул дверь перед самыми носами опешивших авантюристов...

У Сеницыной не было времени разглядывать расторопного помощника, она лишь выразительно протянула к нему связанные руки, в то время как дверь тряслась и гремела...

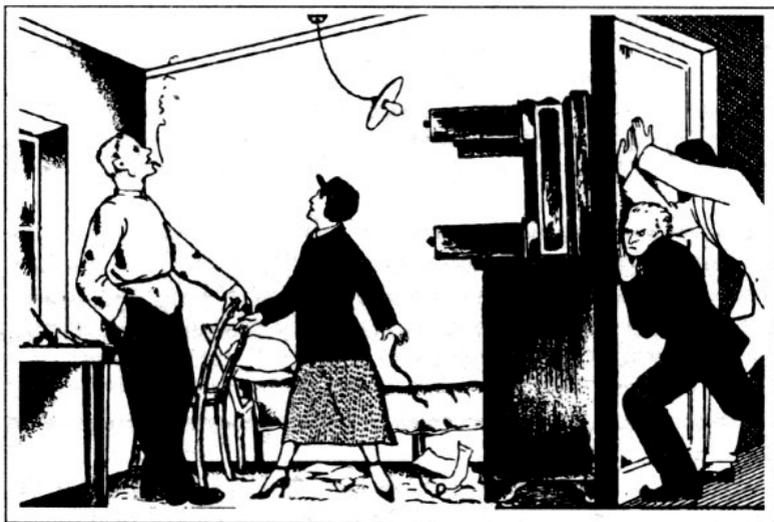
Дверь была основательная, поповская, но у двух авантюристов желание взломать ее было еще основательней, и поэтому она с каждым новым ударом становилась все более и более непрочной: гнулись отдельные доски, визжали недвусмысленно петли...

Массивный человек, развязав рабфаковке руки и не ожидая чьего-либо приглашения, рванул вдруг с места тяже-

лый комод и шваркнул его, как перышко, к двери; на комод взгромоздил письменный стол и, сделав все это в несколько секунд, сам стал напротив баррикады, подбоченясь, и торжествующе промолвил:

— Ха!..

В это время рабфаковку до смертельного ужаса поразило его сходство... но в это же время грохот вышибленной рамы, лязг стекла покрыл все: и ее ужас, и проклятия врагов, и треск выломанной двери... Вслед за тем на секунду две воцарилась немая тишина. Потом беспорядочный топот ног, револьверные выстрелы и новые проклятия взрывом уничтожили тишину, с минуту наполняли собой дом и растаяли, отдаляясь...



— К чему эта комедия? И как вы сюда попали? — гневно выпалила рабфаковка, адресуясь к массивному человеку и взором отыскивая какое-нибудь оружие.

Вопрошаемый, вместо того, чтобы ответить, скосил глаза на кончик угреватого носа, затянулся полупотухшей папироской, которая все время висела у него на нижней губе, и пустил дым расходящейся спиралью.

— Ну? — угрожающе произнесла рабфаковка, подняв с пола массивное и удобное пресс-папье.

— Положите, положите пресс-папье, я вас не понимаю... — скороговоркой проговорил массивный человек и на всякий случай стал вполуоборот к решительной женщине в куртке.

— Бросьте валять дурака! — снова вскричала та.— Я вас спрашиваю: как вы опередили меня и почему стали сооружать баррикаду?!

— Вы бесповоротно странный человек... — забормотал «баррикадист», не покидая осторожной позиции. — Ворвались в мою комнату... Закричали: «бандиты, бандиты...» А когда я вас спас от них, хотите проломить мне голову мраморным пресс-папье... Ну, взяли бы вон то: оно деревянное...

Рабфаковка отметила: у него белесые глаза лукаво искрятся, по всей толстой фигуре разлито добродушие... Что за необыкновенная перемена?! Не сидел ли он с ней и Сидориным в телефонной комнате? И не смотрел ли на нее взором кровожадного зверя?..

Она положила пресс-папье на комод и попросила странного человека подойти к стенной лампе. Тот с видимым удовольствием исполнил это, на ходу очень искусно выплюнув разжеванный окуроч в потолок и поглядывая: упадет или не упадет?..

— Да вы же не Аполлон, да?.. — изумленная, воскликнула рабфаковка, женским чутьем поняв разницу между Аполлоном и странным человеком.

— А-а.. Вон что!.. — Странный человек опустил взор с потолка, твердо убедившись, что окуроч прилепился добросовестно, и закурил вторую папироску. — Вон что. Вы меня за Аполлона Игоревича приняли? Да?.. Нет, я Востров. Дмитрий Востров. Может, слышали? Известный изобретатель...

— Синицына! Эгой! Ты жива?.. — раздался вдруг голос Безменова.

Рабфаковка, зардевшаяся от радости, обернулась к дверям, а Дмитрий Востров так же быстро разрушил свое сооружение, как и построил.

Безменов, без фуражки, с растрепанными волосами, с револьвером в руке и пятнами крови на одежде, прыгнул в комнату и сразу же обрушился на Вострова:

— Руки! Показать руки! — скомандовал он.

Востров, в растерянности не поняв, поднял руки кверху, не выпуская, однако, папироски, прилипшей к нижней губе.

Безменов бесцеремонно подтащил его к свету. Осмотр рук дал благоприятные результаты.

— Вы Востров! — сказал он категорически.

— А вы — Безменов, — не менее категорически отвечал Востров. — Хотите папироску?

Синицына хохотала, а потом, увидев свежую кровь на одежде Безменова, забеспокоилась.

— Чья это кровь?

— Тут и моя и чужая, — небрежно отвечал рабфаковец, прислушиваясь к звукам с улицы, дошедшим до его напряженного слуха. — Надо утекать.

— Но ты ранен.

— Ерунда. Царапина. Живей, живей! «Их» здесь чертова куча!..

Они все втроем поспешно оставили дом и без приключений погрузились в трамвай.

В эту же ночь Безменов сидел у Васильева, который «только что собирался соснуть, поймав банду, ограбившую Центральный кооператив, но... не тут-то было...» Безменов дал ему отчет:

— Сидорин и Аполлон ускользнули. У них большая организация. Тех, что сторожили улицу со стороны центра, я снял... Их тебе доставили? Но тыл улицы охраняло еще человек 10. Я это предугадывал и тем не менее погнался за главарями. Меня окружили. Двух я ухлопал. Сам я отделался царапинами. В общем, организация Сидорина наполовину разгромлена. Вострова я у них отобрал, вернее, он сам «отобрался».

Видишь ли, Востров оказался хорошим и честным парнем, хотя не без лукавства. Когда его забирали из клиники, действуя двойником, он еще не был вполне нормален. Сам он врач, и дорогой он объяснил мне, что от болезни его окончательно излечил Сидорин, предоставив в его распоряжение денежные средства и обещая скорую поездку на Кавказ. Это подействовало лучше, чем медикаменты и специальные методы лечения. Но, излечив больного, Сидорин тем самым просветил ему голову и открыл глаза на свою личность и свои цели. Поэтому Востров с первого же дня пребывания в поповском доме задумал бежать от бандита. Он, как уверяет, даже не открыл ему местонахождения детрюитных руд. Сейчас Востров находится здесь. Более безопасного места ни он сам, ни я не могли найти. Синицына — тоже с нами. Вот и все. Теперь Сидорин не имеет пристанища... хорошего пристанища, я подразумеваю. Надо его ловить...

Васильев сейчас же вызвал агентов и приказал им следить за вокзалами. Со вторым отрядом он сам хотел идти в район Басманных улиц.

— Ты отдохай... Завтра поедешь с Востровым на Кавказ, — безапелляционно произнес он. — Детрюит — это важная штука. Можно даже не созывать спецов, чтобы установить его значение... Надо найти детрюит.. С Сидориным я покончу сам, если он еще не удрал из города...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— В глухих дебрях Закавказья есть страшные, жуткие места, которых, как чумы, избегает человек, от которых инстинктивно бежит скот, зверь и птица... Это обыкновенно — мрачные долины, зажатые с обеих сторон скалистыми громадами гор, лишённые растительности, наводящие на человека неизбывную тоску. Туземцы такие места назы-

вают «Долинами Смерти» и называют с полной справедливостью, так как ни человек, ни зверь, ни птица не могут пробыть там и нескольких часов без того, чтобы не заболеть и не погибнуть страшной смертью...

И это не сказка, это факт, факт загадочный и жуткий, но он отмечен не одними туземцами, а, если хотите — и мной...

Я врач, и мне приходилось оказывать помощь — увы, безнадежную, — не одному десятку такого рода больных, пострадавших или от незнания, или от бахвальства, или от безысходности положения, диктовавшего по соображениям военного характера останавливаться, хотя бы на несколько часов, в роковой «Долине Смерти»... И, если хотите, я был единственным из отряда в 150 человек, уцелевшим — не чудом, а наукой — от смертельных объятий «Долины»... Вы догадываетесь, конечно, что это было в гражданскую войну... Да, это было в гражданскую войну, причем я был старшим и единственным врачом красноармейского отряда, состоявшего из ингушей и осетин. Я вам расскажу после, как я уцелел. Сейчас же перехожу прямо к тому, что от меня требуется...

Болезнь, вызываемая посещением этих опасных мест, проявляется сначала в параличах конечностей, затем в летальной остановке дыхательного центра и центра кровообращения. Уже после смерти на теле появляются глубокие язвы, доходящие до костей. Мясо отваливается кусками и обнажаются кости... Болезнь на туземном языке, в местности, которую я посетил, носит двойное название, смотря по своему отражению на мужчине и на женщине. Ее зовут «Целкави мамали» или «Целкави дэдали». Если вы знакомы с кавказскими языками, то вы увидите, что это по-грузински: «мамали» значит «мужская», «дэдали» — «женская». В чем отмечается проявление «целкави» на женщинах — не знаю, не видал; говорят, они почему-то легче отделяются и даже выживают.

«Долина Смерти», которую я посетил и откуда вынес свою детритную руду, находится в глуши гористой Мингрелии (мингрельцы — грузинского племени), входящей в

состав Грузинской республики. Она лежит на высоте приблизительно одной версты над уровнем моря, окружена высоченными утесами и дремучими лесами и огорожена, по обычаю мингрельцев, плетеным забором, чтобы ни человек, ни скот случайно не забрели туда. Один из безымянных левых притоков реки Ингура берет отсюда начало; впрочем, ниже он, может быть, имеет свое название, но мне оно неизвестно...

В давние времена, когда, по преданию, местность вокруг «долины» населяли мифические колхи и когда греческие аргонавты-авантюристы совершали в нее свое знаменитое путешествие, там были богатые местонахождения золота... Они и теперь есть, — вы это увидите, если мы доберемся... Но добывание этого золота сопряжено со смертельной опасностью, вследствие того, что ему всегда сопутствует мой детрюит...

Среди современного ученого мира (ему известно существование «долин») есть предположение, что золото на Кавказе сопровождается радием, тоже вызывающим у человека параличи и язвы. Может быть, это и так, но в той «долине», где я был, нет следов радия. Зато, как вы знаете, я открыл родственный ему, но более активный металл, которым, к моему несчастью, сильно заинтересовались прохвостдьякон, отечественная контрреволюция и, по вашим словам, даже английское правительство.

Рассказчик умолк и мечтательно скосил белесые глаза на кончик носа.

— И вы хорошо помните дорогу в эту «Долину Смерти»? — спросил его собеседующий с ним Безменов.

— О, да... Лучше, чем к себе в квартиру — в домик дьяконский...

Минута молчания, потом — новый вопрос:

— Но если вы говорите, что добывание золота в Закавказье сопряжено с опасностью смерти, то, само собой разумеется, добывание детрюита должно быть еще более опасным?..

— Я же вам сказал, — тихо и нехотя отозвался Востров, обнаруживая вдруг большую усталость, — что я спасся, бла-

годаря науке. У меня есть предохранительная одежда — здесь, в чемодане: и на вас, и на меня...

Безменов удовлетворился сообщением, и через полчаса они летели на «Юнкерсе», имея перед собой линию Москва-Новороссийск.

За дорогу Дмитрий Востров развернулся во всю свою великорусскую ширь, выявил себя добродушнейшим рубахой-парнем. Он с места в карьер перезнакомился со всеми пассажирами, после первого же рейса перейдя с ними на «ты», сыпал анекдотами направо-налево, причем ничуть не смущался, когда они не вызывали ни в ком даже улыбки; показывал фокусы и всевозможные трюки, в лицах представлял разнообразнейшие сценки из своей жизни и жизни вообще, образно демонстрировал раздраженного, сладострастного павиана, садясь на четвереньки и хрипя по-обезьяньему, и прочее, и прочее. С Безменовым, едва успев познакомиться, он сразу стал запанибрата; называл его Ванькой, братушкой, дружищем и прочими товарищескими наименованиями...

— Слушай, Ванька, какой я тебе, к черту, доктор?.. — говорил он Безменову уже в Новороссийске перед посадкой на пароход «Ленин». — Что ты наладил все «доктор-доктор»?! Уж если на то пошло, скажу тебе по секрету: я не доктор, а сапожник... За время гражданской войны все пере-забыл, не сумею, пожалуй, и клизму поставить, а сапоги тачать умею. Зови меня просто Митькой... Так меня даже дьякон звал, ей-бо, право!

— А дьяконица? — лукаво спросил Безменов.

Совсем неожиданно Востров залился краской смущения, не зная, куда девать свои раскосые глаза, а потом, слегка оправившись, произнес почему-то сипло и торжественно:

— Дьяконица называла меня Митяичем... Дьяконица — дура...

О женщинах Востров вообще избегал говорить; этот вопрос причинял ему видимые душевные муки — по соображениям, Безменову и никому другому не известным.

Впрочем, Востров не был таким простаком, каким казался: за всю дорогу, вопреки своей многоречивости, он ни разу не обмолвился об истинной цели путешествия, чего боялся Безменов, а плел такие причудливо-искусные узоры про умирающую богатую бабушку, про козни врагов, про свою неудачливость, что не только пассажиры, но и сам Безменов прониклись к нему сочувствием и грустью...

Порой Безменову казалось, что его новоприобретенный друг просто любит дурачить публику, в особенности толстокожую и ожиревшую; ему, видимо, доставляло громадное удовольствие смотреть на недоуменно-глупые физиономии каких-нибудь нэпачей, когда он, только что окончив анекдот, начиненный умильной чушью, прибавлял назидательно:

— А вот мои товарищи — люди не в пример умные — не так реагировали. Когда я кончал — все: ха!-ха!-ха!..

Подозрение Безменова целиком подтвердилось на пароходе, где для его друга представилось широкое поле деятельности. Здесь Востров, часто забывая об обеде и сне, своими анекдотами вгонял какого-нибудь нэпача в десятый пот... Безменов видел, как несчастный толстяк, пытаясь улизнуть и не умея этого сделать, продолжал слушать его с трогательно-глупой физиономией, заискивающе подхохатывал в тех местах, где требовалось...

— Уф... Упарился!.. — с сознанием исполненного долга отдувался Востров, встречаясь с Безменовым. — Сейчас одного толстяка заставил рыдать от хохота...

— Что-нибудь смешное рассказывал?

— Какое там!.. Такую чушь городил, что у самого уши вяли. А он смеялся! Да еще как! Знаешь, так: ха!-ха!-ха!.. Гомерически... Болван!..

Склонность к преувеличениям у Митьки Вострова была значительно больше того, чем то позволяло распространенное мнение о холодной рассудочности северян. Но его преувеличения всегда сопровождались хитрым подмигиванием в сторону одного какого-нибудь наиболее интимного собеседника: мол, видите, как я заливаю? Ничего, ничего — слопают.

Он был начинен до кончика ноздрей всякими чудесными историями из эпохи красных войн — наполовину вымышленными, наполовину действительными. Например...

На горсточку красноармейцев, заблудившуюся в горах Закавказья, наткнулся многочисленный отряд дикой дивизии генерала Слащева. Красноармейцы, в том числе и автор истории — старший и единственный врач отряда, — засев в скалистой расщелине, отбивались «мужественно и бешено» в продолжение целого дня до тех пор, пока не были израсходованы все патроны... С наступлением темноты бандиты осмелели и сделали вылазку. Тут, конечно, пришел бы конец славным красным ребятам, если бы не находчивость их «старшего и единственного врача»...

— Перед самыми носами озверевших бандитов, — корча свирепые мины, рассказывал Востров, — перед самыми их носами — черт бы их разодрал! — выскочил из расщелины я... У меня не было даже револьвера, не только винтовки; но зато я имел с собой... настоящий, хорошо действующий гидропульт, которым обыкновенно дезинфицируют испражнения холерных больных... Бандиты, опешившие перед такой моей отчаянностью, конечно, остановились и обмерли. А я, хриплым от зноя, от ярости, от безысходности положения... хриплым голосом гаркнув громоподобно: «Смерть белым гадам!»... — привел в действие гидропульт, то есть вставил его в ведро с неочищенной карболкой и пустил вперед мощную ядовитую струю... Мое появление было столь неожиданно, оружие мое столь необыкновенно, а запах карболки столь едок и непривычен для первобытного обоняния детей гор, что они в животной панике, врассыпную, пустились наутек, побросав ружья, патронташи, амуницию, а некоторые даже — штаны и обувь для облегчения бега... Сами знаете, как по горам трудно бегать... Понятно, мы воспользовались всеми этими трофеями и с честью вышли из положения...

В рассказывании и выслушивании такого рода и подобных им историй незаметно прошел весь недлинный, правда, рейс. Погода все время благоприятствовала плаванию и, когда показался красивый пейзаж Сухума, утонувшего в

зелени, стояло солнечное тихое утро, не возмущаемое ни шаловливым ветром, ни шумной игрой вездесущих дельфинов, ни гомоном прибрежных птиц. Пароход бросил якорь далеко от берега. Единственными пассажирами, пожелавшими спуститься на берег, оказались наши друзья. Для них спустили небольшую шлюпку с одним матросом — ве-сельным.

Очень глубокая, но совершенно открытая, громадная сухумская бухта, тем не менее, не представляет никаких удобств для стоянки судов. В ней останавливаются всегда ненадолго и далеко от берега. Объясняется это странное на первый взгляд явление тем, что моряками зарегистрировано в сухумской бухте несколько рифов, частью едва прикрытых водой, частью не доходящих до поверхности на одну-полторы сажени. Эти сухумские рифы составляют интересную приманку для археологов и историков всех стран и наций.

Сухум — столица Абхазской республики — некогда был столицей знаменитой милетской колонии Диоскурии, основанной за 1300 лет до нашей эры.

Со времени владычества турок Диоскурия как бы постепенно исчезает с лица земли, и ученые первой половины прошлого столетия тщетно ищут каких-либо остатков этого могущественного города, насчитывающего около трех тысяч лет в своем существовании.

Только в шестидесятых годах прошлого столетия мюнхенский археолог Брюнн, на основании критического разбора некоторых исторических данных, точно указал место древней Диоскурии и, именно, на месте нынешнего Сухума. Однако самому Брюнну не удалось найти в сухумской местности несомненных остатков Диоскурии — Севастополя. Это сделал русский ученый Чернявский, обследовавший все побережье сухумской бухты и открывший на дне ее многочисленные остатки развалин древней милетской колонии.

Им было установлено, что это побережье из века в век, из тысячелетия в тысячелетие медленно-незаметно опускалось в море и, наконец, похоронило в рокочущих волнах некогда известную далеко за пределами Черного моря славную столицу милетской колонии.

Неглубоко в сухумской бухте Чернявским обнаружены остатки древних стен, иззубренные морскими волнами и покрытые водорослями, губками, актиниями и множеством устриц и мидий. Стены тянутся под водой на всем протяжении побережья от юго-западного угла сухумской крепости, перед всем ее протяжением — до бывшей таможни. Перед таможней сохранилась в море часть стены, немного не доходящая до поверхности воды и хорошо видимая с берега даже при легком волнении. Здесь же можно видеть в море верхушку массивного каменного столба.

На другом конце города, против устья речки, на расстоянии в 200 сажен от берега, рыбаки давно производят сбор устриц и мидий со стен огромной башни, выдающейся с глубины в 10 метров; башня эта не доходит до поверхности воды метра на три. Перед сухумской крепостью, против конца юго-западной трети ее фасада, были обнаружены стены древнего замка, на расстоянии сажен 30-50 от берега. Чернявский, поддерживаемый плавательным поясом, мог обойти его вокруг, местами по пояс, местами по шею в воде. Замок этот имеет два сомкнутых отделения: одно совершенно круглой формы, другое — четырехугольное.

Кроме остатков древних построек на дне бухты, Чернявскому удалось обнаружить при случайных раскопках остатки Диоскурии во многих местах и на берегу. Так, при закладке фундамента таможни открыт был на уровне моря пол из греческих черепиц. В русле реки Веслы были обнаружены остатки древнего устья моста, едва скрытого под уровнем реки.

Нередко при рытье колодцев и канав в Сухуме находят многочисленные обломки греческих черепиц и сосудов, куски свинца и различные монеты с гербами Диоскурии, Египта, Рима и других государств, владычествовавших или торговавших на этих берегах Черного моря. Особенно часто попадают в сухумских наносах куски свинца и свинцовых изделий.

В семидесятых годах прошлого столетия в Сухуме существовал настоящий промысел собирания свинца, монет и других древних металлических вещей, выбрасываемых морем

в сильные бури. Этот промысел даже отдавался городом на откуп профессионалам-собираателям.

В шестидесятых годах два сухумских жителя нашли на морском побережье золотую корону, исторгнутую морем за ненадобностью, очевидно, из какой-нибудь разрушенной во время бури подводной башни... Кто знает, какие богатства скрывают в себе пучины сухумской бухты...

Совсем не подозревая о достопримечательностях растилающихся под ними вод, два пассажира, спущенные с парохода «Ленин», беспечно плыли в широкобортной шлюпочке, несшейся стрелой под взмахами мускулистых рук матроса. Безменов сидел на руле, держа направление на пристань; Митька Востров развлекал себя и матроса анекдотами.

Один-единственный человек, кроме находившихся в шлюпке, оживлял в это раннее утро зыблющееся зеркало бухты. Это был рыбак, сажень в 200 от берега бросивший якорь на гребне древних стен. Он по пояс в воде бродил около лодки, собирая что-то длинным сачком. Но не для ловли устриц и мидий выехал рыбак в столь ранний час, — доказательством тому — катастрофическое происшествие, разразившееся вслед за тем, как шлюпка поравнялась с местом его лова.

— Эге-гей... — крикнул рыбак предостерегающе. — Держите левой, а то на камни...

Не ожидая подтверждения со стороны матроса, Безменов резко взял влево... Раздался подозрительный треск — шлюпка с размаху налетела на острый риф — пассажиры ее упали со скамеек на дно...

Через секунду матрос вскочил, как взбесившийся.

— Ты — чертова перечница! — завопил он, потрясая кулаками в сторону рыбака. — Мокроступ устричный! Куда влево? Зачем влево? Ведьма бесхвостая! Каракатица несъедобная! Акула ротастая!..

Бешеный фонтан, забивший из уст разъяренного матроса, прервался лишь тогда, когда вдруг забил второй фонтан из продырявленного дна шлюпки. Матрос, плюнув в сторону рыбака, бросился затыкать чем попало грозную

брешь. Туда, прежде всего, отправилась его собственная шапка, потом вторая, сорванная с головы изумленного анекдотчика... Безменов сидел слишком далеко, матрос, кинув на его картуз безнадежно алчущий взор, решительно сорвал с себя рубашку и окончательно затампонировал ею зияющую рану... Вслед за тем он снова отомкнул свой фонтан, заклокотавший с удвоенной энергией:

— Гони сюда лодку, ящерица земноводная... Не думаешь ли ты, пустобрех соглашательский, что я повезу пассажиров дальше? Ну, живо-живо, нефтяная панама, керзониада двоегнусная! Живей, живей, живей... А то я тебе сделаю интервенцию без капитуляций!..

Когда рыбак испуганно-торопливо полез в свой первобытный челн, управляемый с кормы одним веслом, матрос удивительно спокойно прервал словесное извержение и, показав широкое, улыбающееся лицо пассажирам, произнес наставительно и конфиденциально:

— Заметьте: ни разу по матери... Потому из комсомолистов.

И, чтобы показать, что его красноречие отнюдь не иссякло, он снова посыпал на голову рыбака трескучие безобидные ругательства.

Рыбак, искусно действуя кормовым веслом, подошел вплотную к потерпевшей аварию шлюпке. Он снял войлочную шляпу и робко-заискивающе заговорил, в то же время окидывая испытующими восточными глазками обоих пассажиров:

— Товарищи, видит бог, я хотел крикнуть «вправо»... Видит бог, шайтан виноват, повернул мой язык не в ту сторону. Вы не беспокойтесь, я вас перевезу, как князей.. Я...

— Ладно, ладно... — прервал его матрос. — Смотай свой язык, слизь мягкотелая... Живо принимай багаж и пассажиров, а то как бы я твоего бога... Курица херувимская... — добавил он с пренебрежением и плюнул в зыблющееся море.

Два чемодана, сильно подмоченные, и пассажиры с мокрыми ногами перебрались в утлый рыбацкий челн. Матрос в напутствие выпустил на голову виновника катастрофы

весь свой остаточный запас крепких словечек: его шлюпка, несмотря на тройную затычку, все более и более наполнялась водой.

Безменову с первого взгляда не понравилась двусмысленная физиономия рыбака, и вся происшедшая история казалась ему преднамеренно устроенной с какими-то темными планами. Его метод распознавания людей по рукам еще больше утвердил его в этом мнении: у рыбака руки были подозрительно белы, а с ладонной стороны совсем лишены мозолей...

— Неужели сидоринская лапа и сюда дотянулась? — подумал он, тайком отстегивая кобуру с наганом.

Митька Востров, после того, как лишился головного убора, сразу замолк и омрачнел. Подозревал ли он что-нибудь — нельзя было судить по его окаменевшему лицу, но жест друга к кобуре не прошел мимо него.

Все событие разыгралось на расстоянии полуверсты от берега; свидетелями его были лишь чайки, с резкими криками принесшиеся откуда-то, да равнодушно сверкающее солнце над головами.

Рыбак молчал, бесшумно работая веслом на корме и от поры до времени кидая тайные беспокойные взгляды то на пассажиров, то в водное пространство перед носом лодки; молчали и приятели, расположившиеся на носу. Подозрения рабфаковца, казалось, не были беспочвенными: челн быстро шел по прямой линии к пристани — сажень семьдесят, не больше, оставалось до нее, — но чем видимей становился берег, тем резче выдавал рыбак свое внутреннее напряжение. Он теперь стоял на ногах и вытягивал вперед шею, стараясь разглядеть что-то таинственное перед бегущим носом лодки... И это таинственное пришло...

Митька Востров, в противоположность своему другу не отрывавший взгляда от поверхности воды, вдруг вскрикнул и схватился за борт. Безменов резко обернулся к нему и выхватил одновременно револьвер: перед лодкой вода пришла во вращательное движение... Друзья вскочили... Вращательное движение превратилось в завывающий водоворот.

На дне водоворота лопнула черная бездна... Челн скакнул туда...

В самую последнюю секунду Безменов оторвал взор от мрачной страшной пропасти и бросил его на корму: там рыбака не было — он плавал высоко на периферии водоворота... Уже когда изумрудная пасть смыкалась над головами пассажиров, грянул выстрел — рыбак ключом пошел ко дну.. Это рабфаковец мстил за свою гибель...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Дьякон-расстрига Ипостасин проснулся оттого, что к монотонному ворчанию ключа, подле которого он спал, присоединились чуждые звуки. Боль во всех частях тела, мучительное жжение в тысячах мест расцарапанной и разодранной кожи напомнили ему о претерпенных злоключениях его в надземном мире.

— Гнусно... — сказал он, подставляя под горячий ключ зудящую кожу рук. — Гнусно устроен божий свет... Не божий он, а сатанинский... А может, никакого бога и нет...

Последняя богохульственная мысль выскочила из горячечных мозгов дьякона нежданной, заставив его в ужасе схватиться за голову и с опаской взглянуть вверх, во тьму, где за сводами пещеры клочкотала загадочная исполинская масса. Потолок не обрушился на кощунственную голову и загадочная масса не хлынула в пролом — или господь-бог спал, или его, действительно, не было. Успокоенный дьякон прислушался.

Болтливый ключ неутомно пел монотонные саги свои о жутких глубинах, откуда вытекал. Грузное ворчание над головой действовало успокаивающе. Глаз ничего не разбирал в кромешной тьме.

Дьякон собирался снова завалиться на боковую — на перину из жидкого теплого месива, как расслышал вдруг те чуждые звуки, что пробудили его от сладкого сна.

Где-то — быть может, за целым рядом крутых подземных поворотов — говорило, казалось, несколько человек зараз. Разговор становился отчетливей не в постепенной прогрессии, а резко, через некоторые промежутки времени, когда разговаривающая группа делала новый поворот, приближающий ее к дьяконской усыпальнице.

Дьякон сначала окаменел, потом заметался по жидкой грязи, не зная, что предпринять.

Между тем стали доноситься отдельные слова из многоголосой речи. Говорили на русском вперемежку с каким-то гортанным и цокающим языком и говорили, действительно, все сразу, перебивая друг друга и крича, как бы бранясь. Но бранных слов, по крайней мере, на русском языке, столь богатом ругательствами, слышно не было. За время короткого своего пребывания на поверхности Абхазской республики дьякон успел подметить манеру восточных народов говорить возбужденно и хором о предметах самого невинного сорта. Возможно, что и здесь было то же. Зажав в руке смертоносную палочку, он вонзил уши в приближающуюся речь. Можно было определенно сказать, что до него осталось три или четыре поворота.

— Он должен быть там, в башнэ... — крикнул кто-то на ломаном русском.

— Он упали и больно расшиблис.. Я знай, как оттуда падать...

У дьякона отросшая шевелюра стала на дыбы: ведь говорили про него! Они думают, что он впотьмах оступился и свалился в какую-то башню... «Но с какими целями вы ко мне идете?» — задал дьякон мучительный, безмолвный, правда, вопрос навстречу приближающейся группе. На вопрос немедленно последовал ответ голосом того же человека:

— Нам сказал: связать и покладит в башнэ.. Ва, а веревка есть?...

— Есть. Есть... — ответило несколько голосов сразу. Потом тот же предусмотрительный голос:

— А если он будут стрелять?..

— Пристрелить, как бешеную собаку... — ответил на этот раз кто-то на чистом русском.

Шлепая босыми ногами, дьякон пустился бежать в обратном от голосов направлении: ему так претили новые убийства...

То и дело натываясь на бугроватые стены, ногами попадая в горячие лужи, он пробежал недолго. Мучительная боль во всех частях тела и в разодранной коже скоро оставила его. В измученной душе напряжилась волна негодования и возмущения:

— Почему я должен бежать, а не они, ну-ка?.. Разве я не сильнее их?.. Я им сделаю предупреждение, если они не оставят меня в покое, тогда... о, господи...

Он разыскал в стене объемистую нишу и залез в нее. Голоса, за время его бегства совсем угасшие, скоро опять загортанили невдалеке.

— Он будут стрелят — я знай... Вай, вай, он отчаянны чалавэки...

— Господи, про меня говорит... — шептал дьякон. — Что я ему сделал?.. Откуда он меня знает?.. Где он меня видел?..

Обладатель голоса, произносившего слова чисто, без акцента и неправильностей, видимо, играл роль старшего. Ему часто приходилось подбадривать робких во тьме туземцев, в то же время чувствовалось, что и он сам порядочно трусит.

— С фонарями вперед... — сказал он, и в этот момент дьякон, выставив голову из ниши, увидел яркий луч света.

— Сто-ой. Сто-ой. Ну-ка?.. — внезапно заорал он. — Сто-ой во имя бога! Кто б вы ни были, сто-ой — иначе все до одного погибнете...

Сразу голоса смолкли и фонари потухли, но жидкая хлюпающая грязь указывала, что продвижение вперед имеется.

— Сто-ой, — снова прокричал дьякон, мучительно сознавая, что неизбежное — неизбежно.

Хлюпающие шаги продолжались...

Тогда он, протянув руку со своим оружием, повел ею несколько раз от одной стены хода к другой.

— Всс... всс... всс...— нежно просвистала палочка...

Раздирающие душу крики... зверские проклятия на двух языках... револьверные выстрелы... Потом мучительные стоны...

Дьякон для полного успокоения себя еще несколько раз поводил палочкой — стоны угасли... воцарилась могильная тишина. Лишь рокочущие звуки сверху говорили о какой-то страшной мести.

В первый раз за все время своего обладания палочкой он рыдал. Рыдал, прислонясь головой к бугристому камню, и тонко-жалостно подсвистывал исцарапанным носом.

Его страдания были безмерны, а измученная мысль не находила выхода. Бога он не хотел трогать, слишком хорошо зная из опыта длинных лет, что возлагать на бога надежды — занятие пустое и пагубное; другое дело, рекомендовать это пастве — паства платила за бога звонкой монетой. Кстати сказать, к существованию небесных сил он стал относиться двусмысленно: когда трусил перед «карающей десницей всеблагого», когда потихонечку проклинал, имея некоторую уверенность, что его проклятий никто ни на небе, ни на земле не услышит.

В последнее время, впрочем, он больше склонялся к первому, и все же в этот раз к «всеблагому» не обратился.

Но... его страдания были безмерны, а измученная мысль не находила выхода. Тогда горькая накипь его души превратилась в гнев. Гнев вылился на лишенный сознания предмет — на фатальную палочку.

— О, ты стерва... — тискал он в руке свинцовую головку. — Ты испортила мне жизнь... Ты сатанинское наваждение. Измышление сумасшедшего... Я тебя уничтожу. В порошок сотру. Развею на все четыре стороны... Ты — корень всех моих зол и страданий... О, дьявол, дьявол...

Но вместо того, чтобы привести в исполнение свою угрозу, он внезапно успокоился, в гневе разрядив скопившуюся реактивную энергию. Успокоился, и старое решение,

бродившее в его душе в последние дни, оформилось твердо.

— Я должен удалиться от мира... уйти от людей... В мире ходят грех и скверны... Я должен очистить свою жизнь постом и покаянием... Палочку я где-нибудь зарюю, чтобы она больше не служила источником смертоубийств и страданий... ни моих, ни кого бы то ни было...

С этим, более чем твердо созревшим, решением он решительно двинулся в путь и... споткнулся на горе трупов... упал в теплую соленую лужу.

— Кровь!.. Кровь!.. — вырвалось у него дикое, иступленное.

До сих пор ему лишь издалека и мельком приходилось видеть кровь своих жертв, а здесь он чуть ли не буквально окунулся в нее. В таком виде ему пришлось пройти минут пять, чтобы отыскать горячий ключ. Здесь он содрал с себя все лохмотья и остатки ботинок, принял ванну, а потом... снова вернулся к горе трупов.

Хотя его решение сделаться отшельником было твердо, — возможность приодеться для новой жизни все же не казалась лишней. Он нашел в лужах теплой крови электрический фонарик и, стараясь не смотреть на искромсанные тела, что было, впрочем, неисполнимо, составил себе полный комплект одежды. Потом разыскал спички, зажигательную машинку и кинжал; все это на правах сильнейшего из сильнейших, по Дарвину, он захватил с собой. Затем двинулся в путь, около ключа сделав остановку, чтобы отмыть от крови руки, ноги и захваченные с боя предметы.

Теперь, при свете электрического фонарика, легко было найти настоящую дорогу из подземного мира. Следы многочисленных ног по влажной почве привели дьякона через час к выходу на поверхность.

Выход прятался в гуще зарослей трехаршинного папоротника орляка, оставшегося в сухумской области от времени каменноугольной эпохи развития земли. Здесь стояла вечная тень и сырая, специфически пахнущая атмосфера, так как море зеленой красиво изрезанной листвы-кроны почти не пропускаяло вниз солнечного света.

Час с лишним провел дьякон в этих зарослях, безнадежно разыскивая выход. Чаща казалась бесконечной; своей монотонностью и однообразием она пугала, а тучи комаров, поднимавшиеся неизвестно откуда и жалившие с таким остервенением, будто три года не ели, заставляли дьякона поочередно то чертыхаться, то призывать имя господне.

— Господи, боже мой! Ведь это же черти что: ни тебе выхода, ни тебе спасения от проклятых комаров... Уж не плутаю ли я, чего доброго?

Но он, в общем, шел по правильному пути, так как все время поднимался в гору.

Наконец, кончился выматывающий жилы орляк. Перед восхищенными взорами дьякона открылась волнистая, вверх идущая зеленая равнина, пестро и сочно украшенная ало-малиновыми куртинками «неопалимой купины», ярко-красными ягодами вечнозеленого рускуса, крупными метелками белых ароматных цветов спиреи и махрово-оранжевыми пышными азалиями. Последние два цветка дьякон привык видеть в окнах цветочных магазинов Москвы, но здесь их было бесконечное море, и как они выгодно отличались от своих московских сестер, чахлах и низкорослых...

Знойное, ослепительное солнце играло в вибрирующем воздухе над яркоцветным ковром. Быстролетные щуры и радужные зимородки порхали с задорно звенящим щебетанием, охотясь за темно-синими шершнями и пунцовыми бабочками. Дьякону, после мрачного вида удушливых зарослей, роскошная равнина показалась, по меньшей мере, райской. Он упивался ее красками, ее ароматом, ее оживлением, но не забыл также взять у солнца справку о времени. Только часов восемь утра показывал добела раскаленный лик, сверкающий на глубокой лазури неба, а его лучи жгли, как в знойный полдень.

— Дивны дела твои, господи, — с умилением вздыхал дьякон, одежда которого высохла так быстро, что он даже не успел заметить, а бесчисленные болячки под влиянием животворного тепла пришли в сладко-ноющее состояние. Но, подгоняемый своим фанатичным желанием как можно

скорее сделаться отшельником, он безжалостно мял роскошный ковер, стремясь уйти дальше и дальше «от наполненного сквернами и смертоубийствами человеческого мира».

Равнина кончалась высоким каменистым плоскогорьем, откуда открывался далекий вид на безбрежное море и приютившуюся на его побережье столицу Абхазии. На море дьякон взглянул раз-другой, а город не удостоился ни одного, даже мимолетного, взгляда.

Дорога пошла под сильный уклон. Сначала по такой же яркоцветной равнине, затем по мелкому кустарнику с черными сочными ягодами, похожими на чернику, «абхазского чайного деревца», и, наконец, по высокому лесу, состоящему частью из знакомых дьякону деревьев, как дуб, ольха, бук, клен, ясень; частью из граба, карагача, тиса, самшита — деревьев, которые он видел первый раз в своей жизни.

Сильно напугала дьякона абхазская лиана или, как называют ее туземцы, «лесная веревка». Проходя в одном месте, он зацепился ногой за ровный и гладкий стебель толщиной в палец; неожиданно зашуршала и зашевелилась листва в самых противоположных концах густой зеленой кровли. Дьякон отпрянул в сторону, напуганный изрядно, продолжая волочить за собой невинную веревку, и вдруг к его ногам свалилась сверху целая сеть бечевки и веревок, переплетенных листьями и кистями буро-красных звездчатых цветов.

— Вы только представьте себе, — обратился к неведомому огорошенный дьякон, — целый веревочный магазин, ну-ка?.. и веревки цветут... Дивны, дивны дела твои, господи...

Чем глубже забирался он вглубь леса, опять поднимаясь в гору, тем гуще и дремучей становилась стена деревьев. Скоро настоящие джунгли окружили его.

До сих пор он не видел ни одного зверя, ни крупного, ни малого, и даже не задумывался о возможности существования таковых в дремучей чаще, и вот вдруг ему пришлось сначала услышать, а потом и увидеть одного из пред-

ставителей абхазских джунглей. Грозно затрещали сухие ветки в густой заросли молодого дубняка; рев, похожий на звуки, издаваемые взбесившимся боровом, донесся до слуха встревоженного дьякона, затем разъяренная туша дикого кабана, поднятая из логовища, выкатилась, держа недвусмысленно приготовленные клыки, напрямик на него.

— Господи, большая и некрасивая свинья... — воскликнул он, направляя на взъерошенного кабана детрюитную палочку.

Кабан, как распалившийся теленок, дрыгнул задними ногами, изрыгнул на голову убийцы проклятия на своем языке и растянулся неподвижно. Детрюитный луч рассек его на две части.

Дьякон совсем не подозревал о той опасности, которую несла ему встреча с дикой свиньей. Он думал, что, не будь у него даже детрюитной палочки, свинья от одного грозного окрика должна была бы обратиться в бегство. Слишком невысокого мнения был он о силе и свирепости абхазских кабанов: тот, что выскочил на него, легко справился бы с тремя дьяконами, будь они безоружны; вспорол бы им животы, растоптал, раздавил тяжелой тушей. Лишь благодаря детрюитному лучу случилось обратное.

Свершив новое смертоубийство, но не чувствуя на этот раз никаких угрызений, дьякон вожделенно уставился на жирные окорока кабана.

— Была бы здесь Настасья, ну-ка? — мелькнула у него коварная мысль. — Она бы такую ветчинку запекла, и-их, э-эх, э-эх!..

Потом он отогнал «дьявольское наваждение», но проснувшийся голод отогнать не мог. Голод, собственно говоря, давно пожирал дьяконские внутренности за отсутствием чего-либо более аппетитного, теперь же он утроился в своей интенсивности, и дьякону ничего не оставалось, как заделаться своим собственным поваром.

У него был кинжал, были спички и зажигательная машинка. Спички, правда, отсырели, но зажигалка работала, что он машинально проверил. Найти подходящий кусочек из огромной туши труда большого не представляло, но ка-

ким манером ухитриться поджарить его, когда у него ни сковородки, ни котелка припасено не было?.. Дьякон долго ломал себе голову, сидя над соблазнительной тушей и глотая обильные слюны, как подопытная собака в лаборатории профессора Павлова. Наконец — на это потребовалось полчаса усиленной мозговой работы, — наконец его осенила гениальная мысль:

— Шашлык, о... — Сделать шашлык, такой, какой ему подавали в сухумской столовой. Ну-ка?.. Штыка, правда, у него не было, но это пустяк, дьяконской сообразительности хватит, чтоб справиться с этим затруднением...

Он огляделся, выискивая глазами подходящее деревцо. Таких в молодом подлеске нашлось много. Загубив безжалостно несколько тонких стволов, дьякон остановился на стройном самшите, древесина которого была тверда, как слонобая кость.

Он, конечно, не знал, что самшит в промышленности Абхазии стоит не на последнем месте. До революции его древесина шла за границу — в Марсель, Лион, Париж, Лондон и Манчестер — на приготовление разных деревянных частей машин, блоков, ткацких челноков, гравировальных досок и другого. Пуд древесины на месте ценился в рубль золотом. Он не знал того, что теперь союзный «Текстильтрест» живет абхазским самшитом, получая его отсюда в виде готовых ткацких челноков. Состояние союзной промышленности не интересовало дьякона ни вообще, ни в частности. В частности он просто был обрадован, как малое дитя, найдя крепкое деревцо, могущее заменить недостающий для приготовления шашлыка штык.

Тщательно обтесав его острым, как бритва, кинжалом и утончив до требуемого размера, абхазский Робинзон отложил готовый к употреблению вертел в сторону и занялся разведением огня.

Через полчаса он жадно поглощал жирное, несоленое, правда, и сильно отдававшее дымом мясо. А еще через полчаса, свернувшись неуклюжим кренделем, мирно похрапывал под сенью низкорослого каштана, видя во сне обетованную пустынь и себя в виде Симеона-столпника.

.....

— У-у-ух, хорошо пахнет?.. — обратился изодранный шакал к такому же изодранному своему собрату, подняв нос против ветра.

— Очень вкусно пахнет, — согласился второй шакал, тоже исследуя воздух, — но я предпочитаю свежему мясу дохлую корову...

Пара голодных шакалов находилась верстах в пяти от местопребывания дьякона, на высокой скале, против мингрельской деревушки, где им — вот уже неделя — не пришлось ничем полакомиться из-за отвратительной жадности свирепых деревенских овчарок. А на краю деревушки лежала аппетитная дохлая корова...

— Брат, а не бросить ли нам эту падаль, а? — намеренно просто предложил первый шакал, с напускным равнодушием поглядывая в сторону.

— Р-р-р... не согласен... — был ворчливый ответ. — Я не хочу журавля в небе, когда под носом синица...

Первый шакал некоторое время помолчал, показывая тем, что жареное мясо и свежая кровь его интересуют ровно столько же, сколько прошлогодний снег, которого, кстати сказать, в Абхазии они никогда еще не видели, и что заговорил он об этом просто так, от скуки больше; потом он оскалил зубы на надоедливую муху, прокашлялся, так как недельное пребывание на незащищенной от ветра скале отозвалось дурно на его дыхательном аппарате, и опять с полным равнодушием пролаял:

— Как хочешь, а я, кажется, должен пойти посмотреть, кто это там ест мясо. Я скоро вернусь, ты не беспокойся. Посмотрю и вернусь... Понимаешь, для интереса...

— Можешь совсем не возвращаться... — проворчал второй шакал и затрясся всем туловищем: знойное солнце его ничуть не согревало, так паршиво сказывался семидневный пост. — Можешь совсем не возвращаться... — повторил он еще сердитей.

Первый шакал, по обычаю шакальскому, поджав облезлый хвост, мелкими шажками, будто прогуливаясь, направился в сторону раздражительного запаха. Он изредка, пока еще был на виду у своего собрата, останавливался, нюхал землю, рыл ее лапой, вертелся на месте, догоняя свой собственный хвост, но в общем держался одного и того же направления. Пробежав таким образом с версту и убедившись, что его теперь никто не видит, он пустился во всю прыть, словно за ним гналась свирепая овчарка.

А второй шакал, даже не выжидая полного исчезновения товарища, опрометью сорвался с крутой скалы и помчался, закусив язык, к тому же запаху, но с другой стороны.

— Я, кажется, заблудился? — съехидничал первый шакал, неожиданно повстречавшись с запыхавшимся вторым шакалом у опушки леса, из которого исходили слюноточивые запахи.

— Я, кажется, заблудился, брат, и опять попал к той же скале?

Второй шакал не счел нужным тратить слов впустую и попросту куснул ехидного товарища за бок. Этим прискорбный инцидент исчерпался, и оба дружно, в молчаливом согласии ринулись под сень высокоствольного леса, стараясь перегнать друг друга...

Но каково же было их возмущение, когда они увидели, что их прибытие к притягательному запаху было далеко не из первых... Кругом разделанной надвое свежей туши кабана сидело штук двадцать таких же изодранных и облезлых голодных созданий, тихонько подвывавших и глотавших слюну...

Первый шакал не мог сдержаться, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и громко залаял.

— Тише... Здесь человек, иль не видишь? — прошипел ему кто-то из сомкнутого круга.

Прибывшие, пустив в ход безработные клыки, попросили потесниться. Им с большой неохотой дали место и дали самое неудобное: как раз против них, загоразвивая собой кровавое мясо, животом вверх лежал человек. Человек

не был мертв, из его исцарапанного носа исходили хрипящие звуки. Так хрипит курица, когда ее схватишь за горло...

Шакалы легким воем подзадоривали и подбадривали друг друга, но наброситься на дразнящего запахом кабана боялись: ведь эти двуногие так коварны. Кто его знает, может, человек не спит, а притворяется. Может, он хочет отведать теплой шакальей крови... Ав-у-у...

— Ав-у-у... ав-у-у... — согласно подвывала шакалья стая.

Второй из опоздавших, тот, кого трясла голодная лихорадка, наконец, не выдержал. Зажмурил в избытке храбрости глаза, он прыгнул через распростертого на земле человека и алчно вцепился зубами в кровавый разрез туши... В это время исцарапанный человек проснулся, так как отважный прыгун своим облезлым хвостом задел его по носу. Человек проснулся и, хлопая осовевшими глазами, привстал на локте. Вся стая с визгом, воем и рыданием отступила на два шага, но не порвала круга, потому что отчаянный шакал оставался на месте. Тоскливо рыдая и каждую секунду готовый к бегству, он с остервенением рвал не успевшее еще остыть мясо и глотал огромными непрожеванными кусками...

— Пошла вон, ну-ка?.. — гаркнул проснувшийся дьякон.
— Паршивая собачонка, все мясо поганишь...

Он замахнулся на оцепеневшего шакала, и тот визжащей стрелой сорвался с туши, на ходу бросив что-то безнадёжно тоскливое.

Вся остальная свора быстро сообразила, что у человека не было никакого оружия, кроме кинжала, и снова сомкнула строй.

Человек, глядя на них, весело смеялся:

— Удивительно наглые и трусливые собачонки... А шерсть-то, шерсть! Ровно Настаськин коврик — облезлый и шершавый...

Это сравнение вызвало у него новый приступ громкого смеха:

— Ах-ха-ха-ха... Настаськин коврик... Эй, вы, коврики нечесанные, жрать хотите, ну-ка?.. Ах-ха-ха-ха...

Шакалы смеха не переносят, в нем они видят издевательство, и поэтому вся шайка подняла невообразимый вой, уставив носы кверху.

Человек продолжал смеяться:

— Ах, вы, сукины дети, ну-ка? Вот ведь как лопать хотят. И откуда только такая куча собралась?.. Должно, со всех деревень... И все как на подбор — коврики. Ха-ха-ха...

Он встал на ноги. Шайка метнулась в сторону и застыла, жадно сверкая трусливыми глазками. Исцарапанный человек подошел к туше... Неужели он будет ее есть?.. Нет, человек вынул что-то из правого рукава, в воздухе прозвучал мелодичный свист, и... кабанья голова отскочила от туловища... Он ее будет есть? Ав-у-у... Шакалы сомкнули круг. Кое-кто из них заискивающе заскулил, более стойкие злобно сверкали глазами... Вдруг человек, подняв кабанью голову, бросил ее в кучу горящих глаз, оскаленных челюстей и красных десен.

...Визг, вой, лай, грызня... Живой клубок из облезлых, грязных тел...

Дьякон хохотал, довольный выдумкой... и не успел он оглянуться, как с кабаньей головой уже покончили: начисто обглоданные кости — ни шкуры, ни щетины...

— Ах, вы, сукины дети, ну-ка?..

Он отсек лучом переднюю ногу у туши и опять бросил ее голодной стае. С ногой покончили еще быстрее...

Теперь огнем горящие глаза приблизились к нему чуть ли не вплотную, но он не чувствовал ни малейшего страха: ему ли бояться этих жалких заблудших собачонок?.. Этих ковриков? Ха-ха-ха...

Вторую ногу у него почти что вырвали из рук, когда он готовился ее бросить. Клубок из Настаськиных ковриков теперь мотался по земле в двух шагах от него; на него не обращали внимания. Но, закончив с подачкой, шакалы снова отбегали на почтительное расстояние и снова заискивающе жалобно скулили.

Скоро в руках исцарапанного человека остался лишь один задний окорок... Неужели он его сам съест? Ав-у-у...

Да. Исцарапанный, сердито рыча, повесил окорок себе на спину. Он его берет с собой...



— Вот сучьи дети... — ворчал дьякон. — Слопали целого кабана и хоть бы те что. Хоть бы пополнили, ну-ка? Представьте себе: ничего подобного — чистые шкелеты...

Он двинулся в путь, продолжая подниматься в гору, следовательно, опять в направлении, обратном от города. И опять его мысли попали в плен навязчивой идеи.

Солнце стояло в зените. Воздух под зеленым шатром был пресыщен сырой духотой. Замолкли птицы; ветви деревьев опустили листву, чтобы на нее меньше падало палящих лучей, а дьякон, не чувствуя ни зноя, ни усталости, шел и шел.

— Представьте себе, — говорил он сам с собой. — Мертвый человек, ну-ка? — Факт. Упал с аэроплана, сажень сто, не меньше. Разбился вдребезги. — Факт. И вдруг в Сухуме, ну-ка? Ночью... смердит... Лазарь тоже смердел, когда его Христос воскрешал. Факт, то есть, нет, не знаю... Англичанин — мертвый человек — факт. И представьте себе, ну-ка: на ногах, как живой, зеленый и в саване, смердит и гоняется, гоняется и смердит... Где логика, ну-ка? — как говорил

Митька Востров. Что-нибудь одно: или смердеть в саване, или гнаться на ногах, факт. А он и то, и другое. Значит, чертовщина. Факт... Значит, бог попустил, факт. Значит, пост и молитвы. И уединение, факт...

Лес неожиданно запестрил голубыми проблесками. Снова под ноги стали попадать стволы лиан, селящиеся, по обыкновению, на опушках. Сюрпризы из веревочных сетей с звездчатыми буро-красными цветками посыпались дьякону на голову, и он невольно встряхнулся от навязчивых мыслей.

Перед ним лежало голое, унылое плоскогорье, оно отлого спускалось вниз, чтобы с середины подняться на еще более значительную высоту. В конце его — дьякон определил на глаз: «две версты» — начинался густой хвойный лес, круто взползавший в гору.

Только вступив на дышавшую зноем каменистую почву, дьякон познал, что такое полдень в Сухумском краю; и сверху и снизу одинаково жгло, слезились глаза от нестерпимого блеска, горело лицо полымем, в болячках — и на теле, и на лице — от выступившего пота поднялся невыносимый зуд... Дьякон почувствовал сильнейшую жажду и еле поднимал свинцовые ноги, но храбрился: «эка, две версты... дойду до лесу, там — вода»...

На нем был белый китель, снятый, по-видимому, с русского человека, брюки из кавказского сукна — широкие и тяжелые, горские сапоги — чувяки с тонкой подошвой без каблука, а на голове мягкая войлочная шляпа, туземной выделки, с широкими полями. Он скинул шляпу, из-под которой пот струился внешними ручейками, и через пять минут снова надел ее, испугавшись, как бы палящее солнце не зажгло волосы... Каменистая почва, в свою очередь, жгла ноги, — приходилось идти вприпрыжку, — а это еще более усиливало чудовищную жажду. Но дьякон мужественно сносил все мучения, — правда, окорок, давивший плечи, он давно бросил.

— Пещь огненная, очистительная.. — говорил он себе. — Бог, как на многострадального Иова, посылает мне испытания... Мужайся, раб Василий, спасешься...

До леса оказалось не две версты, а добрых десять... Перспектива обманывала...

Не больше пяти верст осталось за многострадальным Иовом, когда его, отнюдь не библейское, мужество предательски бежало. В довершение всего, подул известный в Закавказье и, в особенности, в западной его части, свирепый норд-ост; когда он дует три-четыре дня подряд, все болота и речки пересыхают, зелень вянет и сохнет, живность прячется... Норд-ост высушил пот на лице и теле дьякона в несколько секунд, но этим лишь увеличил его страдания...

— Я прожарился насквозь... я умру здесь... — прохрипел «многострадальный Иов», еще часа два промотавшись на обессиленных ногах и чувствуя, как язык его понемногу превратился в сухой и корявый пенечек. Он остановился, блуждающим и воспаленным взором выискивая, где бы укрыться. Несколько вправо от его пути, среди чахлых кустиков «чертова дерева», высилась скала. К ней он и направился, собрав остатки сил.

Но, увы, скала не давала тени. Солнце стояло почти в зените: теней не было...

— Я умру здесь, — повторил дьякон и, приготовившись к смерти, с помутившимся сознанием опустился на раскаленные камни. Застучали в висках острые молоточки, гвоздя воспаленный мозг; сердце в предсмертной агонии заплясало тарантеллу...

· · · · ·
· · · · ·

— Ав-у-у.. ав-у-у-у...

Дьякон разодрал потрескавшиеся веки и мутными зрачками уставился перед собой — полукрутом против него сидели понурые шакалы, тоскливо скуля...

— Коврики хотят меня съесть... — выползла мысль и застряла меж ссохшихся мозговых извилин. Он сделал попытку встать и упал на локти и подбородок, перевернув-

шись на оси. Полукруг незаметно уплотнился, так как лица исцарапанного человека видно не было... Когда он сделал вторую и столь же безнадежную попытку встать, его лицо очутилось в непосредственной близости к отвесом уходящей вверх скале. И тут в дьяконском организме протекла бурная реакция: из скалы точилась вода, — проще: мокрое пятно выделялось на сухой скале... Пятно говорило о воде и о возможностях к жизни...

Запасные, остаточные силы организма позволили дьякону встать на колени и шершавым языком облизать мокрое пятно. Его силы от этого заметно не увеличились, но заработал мозг: «надо, чтобы потекла вода»... так приблизительно оформилась мозговая продукция.

Дьякон поймал в рукаве свинцовую головку, и в этот миг один из шакалов робко куснул его за ногу.

— Сейчас, сейчас.. — отвечал дьякон, не оборачиваясь, так как думал, что шакалы после сытного обеда, естественно, просят пить.

Обнаглевший шакал повторил свою выходку, вцепившись на этот раз в икру ноги. Тогда дьякон обернулся и пронзил наглеца лучом. Труп немедленно уволокли и справили над ним кровавую тризну.

Теперь детрюитный луч прыгал в трепещущей руке, распыляя скалу. Острая горячая пыль фонтаном била дьякону в лицо... Потом пробилась робкая струйка воды, и вдруг хлынул обильный водопад. Подземная речонка устремилась в отверстие и превратила его в двухаршинный пролом.

Дьякона смыло от скалы к шакалам, — шакалы пустились наутек.

«Многострадальный Иов» был спасен. Через полчаса он бодро шагал к лесу в сопровождении неотступной шайки. В лесу он передохнул и двинулся в дальнейший путь — к обетованной пустыне.

Шакалы не отставали.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

При падении челн раскололся на щепки; щепками были засыпаны два тела и два чемодана. Хлынувшая в потолок вода — как только отверстие закрылось — разбежалась по трещинам плиточного пола, — так что лежать было влажно, но не мокро.

Грозная башня, выстроенная 3000 лет тому назад, в течение 25-ти веков отбивавшая буйные атаки морских пиратов и обогрявшаяся кровью финикийцев, греков, халдейцев, колхов, римлян, персов и других народов Древнего Востока и Древнего Запада, ныне обогрилась кровью Митьки Вострова, истекавшего разбитым носом, и кровью неутомимого борца со случаем Ивана Безменова, у которого кровоточил рассеченный лоб.

Оба друга некоторое время пролежали без сознания.

Первым очнулся Востров. Чиркнул зажигалкой. Зажигалка, как всегда, не горела.

— Это меня возмущает, — с ударением на «ить», так как он был родом из Тулы, сказал Востров. — Когда не нужно, она горит, а когда нужно, путной искры не добыешь...

В конце концов, больно надсадив палец, Митька Востров все же искры добился, — зажигалка вспыхнула, — и он увидел распростертого друга, а у себя на руках — кровь, стекавшую с расквашенного носа.

— Надеюсь, он еще не умер? — с досадой проговорил «старший и единственный врач» всех красногвардейских и красноармейских отрядов, действовавших некогда на Кавказе. — Если он умер, это будет некстати... Совсем некстати...

На свой нос он не обратил ни малейшего внимания, так как, с детства страдая полнокровием, считал, что лишнее кровопускание ему никогда не повредит.

— Штрюмпель пишет, — подумал Востров (Штрюмпель — это почтенный немецкий буржуа, написавший классиче-

ски-толстый учебник «Внутренних болезней», принятый искони в ресеферских университетах)... — Штрюмпель пишет, что для производства искусственного дыхания необходимо положить под спину обмершего какой-нибудь предмет... он, кажется, рекомендует для этой цели одежду, снятую с обмершего и свернутую комом... Но снимать одежду — долгая музыка. И потом, во время этого процесса Ванька может очнуться, а так как дело будет происходить впопыхах, то он, чего доброго, даст мне затрещину, от которой не поздоровится, и я не смогу произвести искусственного дыхания... Тогда что же? Снять с себя одежду? Опасно — можно простудиться... Положить под него чемодан?.. Нет, не годится — велик... Вот задача...

Не придумав ничего, Востров пощупал у друга пульс, — бьется, хотя и слабо. Послушал сердце, — работает ритмично.

— Иван Степанович, вставай!.. — завопил он над ухом обмершего и принялся с присущей ему энергией трясти распростертое тело.

Это средство оказалось лучше всяких штрюмпелевских. После пяти минут энергичного трясения Безменов очнулся.

— Чего орешь? — спросил он спокойно. — Не глухой... слышу...

— Слышишь, а целый час не отвечаешь... — возразил Востров: у него, как известно, была небольшая склонность к легким преувеличениям.

На это Безменов ничего не мог сказать, не зная, сколько времени пролежал он без сознания. Тогда, вспомнив о виновнике их настоящего местопребывания, он сказал:

— А я, кажется, подстрелил этого мерзавца — рыбака, рыбака в кавычках...

— Ты ему влепил промеж глаз, — подтвердил Митька, который во время катастрофы абсолютно ничего не видел, кроме черной бездны.

Рассуждать о причинах, побудивших рыбака ввергнуть их в подводную башню, они не стали, хорошо представляя себе, чьих это рук дело.

Безменов вынул фонарь, но он не действовал, разбившись при падении. Пришлось прибегнуть к содействию капризной Митькиной зажигалки.

— Из башни есть ход, — сказал Безменов, острыми глазами заметив при неверном мелькающем свете черную впадину во внутренней стене.

— Но там может быть скрыта «волчья яма» или еще какая каверза, — возразил Востров, — я не пойду...

Безменов не нашел своего револьвера; очевидно, тот был смыт водой в какую-нибудь трещину пола. В чемодане у него находился разобранный карабин, и этот карабин был им извлечен и быстро собран.

— Пошли, — твердо сказал он, — и первым вошел в черную нишу. Сзади него в двух-трех шагах трусился Востров.

Это был длинный подземный и подводный вместе с тем ход. Он с большими изгибами шел вверх. Стены его были сложены из массивных каменных плит.

Друзья прошли — один неизменно впереди, другой постоянно сзади — добрых полчаса, когда заметили, что характер строения стен изменился. Ход тянулся теперь в горизонтальной плоскости и был целиком высечен в естественной скале. Митькина зажигалка категорически отказалась работать, хозяин ее повыдергал из нее всю вату и вату сжег. Ничего более не оставалось, как брести на ощупь, и они побрели — один неизменно впереди, другой постоянно сзади.

По одному из краев хода зажурчал ручей. Митька поспешил заверить друга, что ручей горячий и, несомненно, минеральный, целебный. Он даже определил на вкус его состав.

— Сернокислого натрия 10 промилле, иодистого кальция 0,5 промилле, поваренной соли 50 промилле, и так далее... — безапелляционно заявил Митька.

На такой скоропалительный анализ Безменов, естественно, усмехнулся.

Неожиданно прозвучали отдаленные выстрелы, донеслись проклятия и стоны. И сразу все смолкло. Востров остановился и прошептал:

— Это — впереди... Идут на нас...

В обеих фразах он оказался правым... Вторая фраза была высказана им в припадке чрезмерной осторожности и проверить ее сейчас же не удалось; в подтверждение же первой, волна сгоревшего пороха вдруг ударила им в лицо. Стреляли, следовательно, в подземном мире, но стреляли далеко — может быть, за десятками поворотов, судя по большой заглушенности взрывов.

— Кажется, произошла короткая стычка двух неравных сторон, — сказал Безменов и попросил друга достать из чемодана свою двухстволку.

С нескрываемым удовольствием Востров исполнил просьбу, но идти рядом с рабфаковцем отказался.

— Я буду охранять твой тыл, — выказывая громадную твердость характера, сказал он.

Безменов не стал возражать, лишь попросил не стрелять в затылок.

— Будь покоен, я этого не сделаю... — оскорбился Митька и, помолчав, добавил: — Лучше я совсем не стану стрелять...

Они обождали с полчаса и, так как за этот срок никто не поспешил «прийти на них», двинулись дальше.

— Непременно попадем в засаду... — упрямо повторял Митька, следуя за своим другом с такой же охотой, с какой бычок идет на веревке мясника.

— Во всяком случае, ты успеешь спрятаться за чемодан, — трунил над ним рабфаковец.

Митька схватился за эту идею:

— А что ж думаешь?.. Я так и сделаю...

Но опять-таки засады они не обнаружили и остановились только тогда, когда перед ними выросла теплая гора трупов.

Безменов обыскал карманы у трупов, обшарил пол, залитый липкой кровью, и, наконец, нашел, что искал. Нашел два электрических фонаря. При свете их Востров, вспомнив о том, что он врач, во-первых, убедился, что в медицинской помощи здесь никто уже не нуждался, и, во-вто-

рых... во-вторых, — пронизательно взглянул на друга так же, как и тот на него.

— Работа, — сказал он, указывая на страшные раны, — работа, похожая на действие детрюита...

Безменов смолчал, потом сходил к ручью и обратно, что-то извлек из жидкой грязи и незаметно спрятал в карман. Почти аналогичное повторил Митька Востров — его карман заметно оттопырился. После этого он произнес робко:

— Мне кажется, мы не должны идти дальше...

— А мне кажется, — встряхнулся Безменов от глубокой задумчивости, — мы должны, именно, идти дальше... — И он помахал в руках каким-то предметом, не тем, что спрятал в карман.

Востров протянул руку и получил кровавую бумажку — удостоверение личности. Удостоверение гласило о некоем Николае Филимоновиче Пастернаке.

— Фамилии я его не знал, — пояснил Безменов, — а имя и отчество слышал в свое время из уст Сидорина... Это из их шайки... Надо идти: сюда может пожаловать сам Борис Федорович Сидорин...

— О... — воскликнул Митька. — Тогда идем... идем...

Читателю известно, куда должны были привести наших приятелей следы на почве, состоящей из грязного месива. По этим следам Безменов повел друга и привел его к тому отверстию, через которое вышел дьякон. Заросли трехаршинного папоротника-орляка простирались отсюда вверх на целые версты.

Востров, попав в более симпатичную обстановку, сразу развеселился и немедленно поспешил обнаружить свои познания в ботанике, а в связи с тем в латыни и медицине.

— Птерис аквилина — «орлиное крыло», — сказал он, указывая на первобытное растение, — хорошая среда для существования комаров, а следовательно, и малярии... Смотри, сколько комаров, черт бы их побрал... Как хочешь, прими хины... Предохранительный прием, понимаешь?

Он достал из кармана жестяную коробочку, наполненную белым искрящимся порошком, отсыпал на руку не-

большую порцию его и, взвесив на ладони, сказал: — Пять дециграмм... точно, как в аптеке...

Вслед за тем он опрокинул ладонь с порошком в рот и даже не поморщился. Безменов, доверявший другу в его медицинских познаниях, тоже принял «пять дециграмм» и почти все немедленно выплюнул обратно.

— Ну и научился же ты ее жрать, — молвил он в свое оправдание.

Тогда Митька выругал его «неженкой» и «институткой».

Друзья решили в город не заходить, а идти прямо к цели. Все необходимое у них было в чемоданах. Запасливый Митька даже соли не забыл захватить из Москвы... Охота могла им вполне обеспечить мясное питание; ягоды, дикие фрукты и плоды, которые, по уверению Вострова, встречаются в Абхазии чуть ли не во всякое время года, могли им обеспечить питание растительное. Однако, пройдя немного в удушливо-знойной атмосфере зарослей, они решили с чемоданами распрощаться.

— Это меня возмущает... — пропыхтел Митька, обливаясь потом и под «этим» подразумевая чемодан. — Его вес превышает вес его содержимого... Бросим чемоданы здесь...

Безменов не возражал против сути Митькиного предложения, но, как более выносливый и дальновидный, он советовал не торопиться. Лишь когда заросли орляка кончились и когда с вершины плоскогорья четко представились с одной стороны, восточной — далекие, залитые солнцем вершины гор, с другой, западной — утопающий в зелени город, Безменов остановился и опустил чемодан на землю.

— Ну, Митяич, — лукаво сказал он, — решай: будем заходить в город или пойдем прямо?» В городе, я уверен, сидит и ждет нас гражданин Сидорин, а там... — Он махнул на восток на бесконечную гряду гор. — Там мы можем встретить двойной сюрприз...

— Какой это двойной?.. — быстро спросил Востров, вонзая раскосые глаза в загадочные глаза рабфаковца. — Детрюитная руда — это один сюрприз, а другой?..

— О другом я пока не имею права говорить и, кроме того, не люблю ошибаться. Скажу в дороге, если этот второй сюрприз не явится сам пред наши ясные очи...

— Это меня возмущает... — сердито вымолвил Митька, громыхая створками чемодана и вышвыривая из него все содержимое на землю. — Ну, если не скажешь, не скажу и я: у меня тоже есть сюрприз..

— Твой-то сюрприз я знаю... — усмехнулся Безменов.

— А вот и не знаешь!.. — Митька хлопнул себя по отдувавшемуся карману.

— Выкладывай, выкладывай... — смеялся зоркий рабфаковец. — Твой сюрприз как раз теперь нужен нам: мы должны познакомиться с Сухумской бухтой.

— Вот черт!.. — Митька выругался и вытащил из кармана раздвижную подзорную трубу.

Безменов взял трубку и, посмотрев через нее на далекое море, сказал:

— Она (трубка) наводит меня на такого рода соображения: мне кажется, при помощи этой трубки бандиты следили отсюда за нашей лодкой. И отсюда же они открыли потолок в подводной башне, когда настал нужный для этого момент...

Соображения Безменова подтвердились самым неожиданным образом. Когда они для выпотрошенных чемоданов искали укромное местечко среди каменных плит, под одной из них открылось углубление. В углублении торчали два заржавленных рычажка: один из них был опущен вниз, другой стоял на месте.

— Ну вот... — удовлетворенно произнес Безменов, которого, казалось, ничто не могло удивить. — Возьми трубку и смотри в нее, смотри на ту часть моря, что находится против крепости, саженьях в 50 от берега... Видишь?..

— Ну, вижу...

Безменов дернул за рычажок.

— Теперь что видишь... Передавай своими словами...

Митька испустил возглас удивления и после того начал «своими словами».

— Вода в указанном тобою месте заволновалась... забурлила... Взревевшей фистулой вдалась в глубь моря... Открылась черная бездна.

— ... Положим, бездны-то ты не видишь... — пробормотал Безменов, держа руку на рычажке.

— Не вижу, но хорошо представляю... ярко представляю... — отпарировал Востров и упрямо продолжал: — Открылась черная бездна, подобная глубокой страшной ране, произведенной разрывной пулей во внутренностях человека... Водоворот вокруг бездны все более и более увеличивается в диаметре... Пошли пузыри... громадные пузыри... словно хирург вскрыл гангренозный шумящий гнойник... Где-то загудело... Затряслась гора под нами...

С последними словами Дмитрий Востров, бросив трубку Безменову, сломя голову ринулся вниз с наблюдательного пункта к яркоцветному ковру, которым кончалось плоскогорье.

Рабфаковец не сразу поставил рычажок на место. Он сделал это, когда сзади него, в зарослях орляка, где скрывалось выходное отверстие из подземелья, заревела вода, гейзером-фонтаном извергаясь вверх.

— Для чего ты это сделал? — спросил Востров спустя десять минут, то есть когда Безменов догнал его. — Для чего ты это сделал?.. Хотел, чтобы гора взорвалась вместе с нами?..

— Нет, — усмехнулся Безменов, — просто хотелось лишнюю свинью подложить Сидорину...

Между тем солнце добралось в лазурном куполе до высшей точки и жгло поэтому нещадно. Митька выявил себя необыкновенно стойко к этому солнцепеку, он шел, даже побряхтывая от удовольствия, как в бане на верхней полке.

— Люблю, — ворковал он растроганно, — люблю, грешным делом, животворное солнышко... Лучшее лекарство... Лучшее предохранительное средство от всех болезней... Проникает глубоко в кожу, дезинфицирует кожу и кровь, через нее протекающую; закаляет нервы, вызывает усиленное образование железа в организме и прочая и прочая...

Безменов тоже сравнительно легко переносил зной «животворных» лучей, но... не ворковал. Однако слушал не без удовольствия своего растроганного теплом друга, оказавшегося ходячей энциклопедией и справочной книгой. Каждое новое явление — древний ли пласт земли, яркий цветок, тернистая колючка, выпорхнувший из кустов зимородок — вызывало в нем соответствующую реакцию, немедленно претворявшуюся в воодушевленный поток слов. Временами он увлекался до того, что воображал себя в обширной аудитории, и тогда из его уст текла плавная и увлекательная лекция.

— Видите ли, дорогие товарищи, — щебетал он тогда, распуская глаза — «один на нас, другой в Арзамас», — видите ли вы этот древний известковый пласт, содержащий в себе мелкие ракушки?.. Этот пласт — страница, вырванная из истории земли... О чем же говорит этот пласт, эта вырванная страница?.. Что прочтет в ней просвещенный взгляд любознательного человека?.. Вы не знаете, скажу я...

— Он прочтет следующее: один-два миллиона лет тому назад — немного больше, немного меньше (геология еще не настолько точная наука, чтобы придирается к лишнему миллионолетию) — в этом самом месте, по этому роскошному лугу, где идем сейчас мы с вами, предаваясь солнечной истоме, существовало море. Море, заключавшее в себе нынешнее Черное и нынешнее Каспийское, со всеми их настоящими окрестностями... Тогда не было высоких гор, не было ярких красок, ни птиц, ни деревьев, ни скал... Глубокая синь вверху и такая же синь внизу. Временами — бурливые волны, шквалы, грозы и смерчи... Тогда оно еще не носило легкоходных кораблей, дымящих пароходов и, само собой разумеется, не носило плавучих городов, именуемых дредноутами, что вмещают в себя 4.000 людей, не считая прислуги. Ничего этого не было, дорогие товарищи...

.

Итак, дорогие товарищи, вопрос, заданный вами мне, исчерпан и, смею думать, исчерпан с достаточной глубиной... На следующий раз...

— Ха-ха-ха... — не выдержала аудитория. — Ха-ха-ха... Браво, браво, товарищ лектор... Довольно. Рекомендуем отдохнуть, а то вы исходите потом и задыхаетесь, будто на вас воду возили...

Лектор внезапно прервал kloкочущий поток красноречия и, вынув платок, стал с таким же воодушевлением, с каким читал лекцию, вытирать чело, обильно орошенное — вплоть до макушки головы сверху и до волосатой груди снизу.

— Ничего нет мудреного... — сказал он, смутясь. — Ничего нет мудреного: лекторский труд требует 4000 тепловых калорий, он приравнивается к труду прачки... Спроси профессора Словцова... у него есть по этому поводу книга... он знает...

До сих пор среди публики держалось неправильное представление о труде лектора. Думали, что работать языком столь же легко, как, скажем, жевать резину... Ничего подобного. Абсолютно неверно... Затрата энергии, уважаемые товарищи, при чтении лекции весьма велика. Да оно и понятно: ведь во время лекции работает не один язык, работает и центр в сером веществе мозга, приводящий его в движение, работает ассоциативный центр речи, работают жестикулирующие руки, центры которых тесно связаны с центром речи. Работает весь организм — по индукции возбуждающийся, работает...

Митька Востров, сам того не замечая, снова завелся на целые полчаса. Его аудитория, на сей раз пополненная высокоствольными грабами, каштанами, ольхой и буком, под зеленый шатер которых приятели вступили теперь, услышала о строении серого и белого вещества, головного мозга, о соотношении между так называемой душой и телом, об извилинах Брока, о Роландовой борозде, о ионной теории возбуждения и о многом другом из области биологии, анатомии и физиологии.

Безменову неожиданно открылась новая сторона в многогранном товарище его по путешествию, это — способность говорить без передышки и говорить на какие угодно темы, с одинаково исчерпывающим изложением затрагиваемого вопроса.

Из геологии Востров с легкостью летучей мыши перепархивал в анатомию, отсюда в физику и химию, в историю религии, в этнографию, в тяжелую индустрию и так далее. И отовсюду выскальзывал с той же легкостью, отделяваясь лишь усиленным потоотделением да учащенным дыханием — и то ввиду знойности окружающей атмосферы.

Лиственный лес, в который они вступили, следуя, сами того не зная, по стопам дьякона, давал лектору обильный материал. Чрезмерно обильный. Ибо язык его по временам даже не справлялся с тою работой, что шла от центра речи, интенсивно возбуждаемого многочисленными и интересными объектами. В общем же, он все-таки успевал реагировать, так или иначе, полно или сокращенно, но всегда увлекательно и живо.

В течение какого-нибудь часа, потребовавшегося приятелям для перехода по истомившемуся от зноя лесу, Востров успел рассказать о многом. Успел рассказать историю, географию и этнографию Абхазии.

— Абхазия страна великих возможностей, — закончил он свой историко-экономико-географический обзор, — страна, где лет через десять задымят фабричные трубы, загремят динамо, из недр потаенных извлекая марганец, каменный уголь, нефть, железо, торф, строительный камень: мрамор и гранит, а может быть, и золото, если к тому времени у нас не будет мировой социальной... Откроются климатические станции и курорты — в роскошных долинах, в вечнозеленых лесах, на побережье моря... Используются минеральные источники, до сих пор ни в какой мере не использованные... Осушатся болота, делающие Абхазию в летние сезоны малярийной... И Союз Советских Республик круглый год будет иметь свою роскошную рабочую резиденцию, в которой смогут проводить свой отдых сотни ты-

сяч трудящихся и которая по своим климатическим особенностям не только не уступает европейской Ницце, но и превосходит ее территориальным и климатическим разнообразием.

Между тем приятели благополучно минули то плоскогорье, пылающее адом, которое для дьякона чуть не оказалось последним этапом для переселения в потусторонний мир. Им значительно облегчил переход поток студеной воды, бьющий из скалы. Подле него они освежились, обмыли, по совету Вострова, распаренные и отяжелевшие ноги и взяли с собой запас свежей воды.

Как только они добрались до сурового пихтового леса и вступили в его величавую прохладу, «страна великих возможностей» подарила им неожиданную встречу с одной из многочисленных своих возможностей.

Сначала где-то далеко на горе, скрытой от взоров «искателей детрюита» за густой стеной зеленой хвои, раздалось жалобное протяжное мычание. Вслед за ним могучий рев взял низкую хищно-торжествующую ноту... Треск хвороста, грохот сорвавшихся камней... Снова мычание и снова рев... Потом бешеная погоня, грозившая свалиться на голову притихших друзей...

Погоня уже была от них в десяти-пятнадцати шагах наверху, на горе, как вдруг новое мычание — мычание расвирепевшей коровы — указало, что по следам преследователя идет мститель.

Востров ломал голову, стараясь отгадать действующих лиц лесной драмы.

Вдруг мимо тисового дерева, за которым укрылись они, промчался, почти скатился чудной мохнатый телок... скатился, упал и, агонически дыша, уж не мог встать на подгибающиеся ноги...

— Зубр!.. Зубренок!.. — не своим голосом взвизгнул Востров, бросаясь к телку. — Из заповедной пущи... Их всего-то с десяток осталось... Смотри, смотри, самый настоящий зубренок...

Он не успел добежать до измученного бегством телка, потому что с той же горы скатился рыжий горный медведь

с черными когтями, вроде крючков для ловли дельфинов, и с оскаленной свирепо пастью. Медведь, завидев соперника, преградившего ему путь к жертве, стал на задние лапы, ревом своим отнюдь не бодря робкого по природе Вострова.

Последующий акт кровавой драмы разыгрался в несколько секунд.

Медведь распротер свои стальные крючья над головой в столб каменный превратившегося человека... Еще секунда, и эти крючья выпустили бы из него дыхания жизни... Но не дремал рабфаковец. Стрелять ему не позволило близкое расстояние и боязнь зацепить друга. Тогда, с силой оттолкнувшись от железного дерева, он пятипудовой лавиной боком обрушился на рыжего хищника. Он нанес ему удар с таким расчетом, с каким вышибают двери. Удар пришелся под левую лопатку медведя, и медведь, толком не успев сообразить изменившейся обстановки, потеряв равновесие, через голову кувыркнулся в заросли «чертова дерева». Рев огорчения и боли показал, что «чертово дерево» не забыло о своих скорпиях... Рабфаковец взял ружье к плечу, но в этот момент новый участник драмы подоспел к месту действия. То была великолепная взрослая самка-зубр, великолепная в своей материнской ярости и безумной отваге. Она лишь мельком глянула на людей, животным обонянием поняв, что враг не здесь, враг — в зарослях; к нему она и устремилась с низко опущенной головой. Медведь в это время наполовину выбрался, оставив в колочках клоки рыжей шерсти и задние ноги. Он пытался стать в оборонительную позу, но не успел: два серпообразных острых рога, хрястнув по ребрам, пронзили ему лохматую грудь... потоки крови брызнули на глаза разъяренной матери... Медведь лишь скребнул судорожно по ее горбатуму загривку, оставив ряд глубоких борозд, и испустил дух.

— Представление окончено... — сказал рабфаковец. — Прощайте публику покинуть зал...

С этими словами он сгрел в охапку своего приятеля, продолжавшего очень искусно играть роль каменного стол-

ба, и увлек его за дерево.

— Заповедная пуца... заповедная пуца... — шелестели бескровные губы окаменевшего лектора.

— «Заповедная пуца, заповедная пуца»... — передразнил его рабфаковец. — Говорил о комарах и зимородках, а о зубрах и медведях хоть бы упомянул.

Самка минут пять простояла в одном положении, не решаясь выдернуть рога из рыжей туши. Наконец, жалобное мычание очнувшегося телка напомнило ей о материнских обязанностях. Она резко стряхнула с головы тяжелое, безжизненное тело, постояла над ним, потряхивая угрожающе головой, и только тогда подошла к своему детищу. Тот, шатаясь, встал ей навстречу. Приятели, вернее, один из них, так как другой все еще ничего не соображал, были свидетелями трогательного эпилога, разыгравшегося на их глазах. Телок ныл и жаловался, тыча мокрым носом под брюхо матери; мать с усердием лизала его, чуть не опрокидывая с ног, и мычала нежно-успокаивающе.

— Заповедная пуца... — в последний раз прошептал бледный Востров и вдруг резко пришел в себя. — А где медведь?..

— Зачем он тебе?..

— У него в носу кольцо... хочу посмотреть... — и неожиданно он вырвался из рук рабфаковца.

Однако до медведя ему дойти не удалось. Между ним и медведем встала горбатая корова, угрожающе поматывая головой.

— Тпрусе... тпрусе... — забормотал растерявшийся Востров. — Тпруська... тпруська...

Несмотря на опасность положения, Безменов не мог удержаться от громкого раскатистого смеха...

Смех отвратил внимание коровы в другую сторону. Митька воспользовался этим и, пятясь задом, благополучно добрался до спасительного дерева. Впрочем, корова и не обнаруживала упорной тенденции к наступлению. Вид человека не пугал ее и не возмущал; она лишь на всякий случай приняла угрожающую позу и, как только странное дву-

ное существо, произносившее ласковые призывы, исчезло, она вернулась к телку.

Солнце стояло низко над горами; пора было подумать о ночлеге. Эта мысль пришла одновременно на ум и двуногим и четвероногим. Четвероногие не замедлили привести ее в исполнение; они прошли мимо тисового дерева, фырча и поводя глазами, и скрылись на горе. Приятели тоже озаботились приисканием подходящего места для ночевки. Около сраженного медведя, хотя у него и действительно оказалось кольцо в носу, оставаться совсем не было расчета: первое — медведь, пускай он когда-то и был ручным, уже имел, наверное, подругу жизни, которая ночью могла заняться поисками тела усопшего супруга; второе — голодные шакалы, чей лай и вой с наступлением сумерек наполнил окрестности, по запаху крови скоро должны были явиться на погребальную тризну и, таким образом, нарушить сон приятелей. Им оставалось только пройти вслед за коровами, чтобы разбить ночной лагерь подле них или где-нибудь поблизости.

Перед тем, как покинуть место кровавой драмы, Востров направился к трупу главного действующего лица — рыжего хищника и вырезал из его филейной части громадный кусок мяса.

— Это для кого же? — поднял брови рабфаковец, пораженный размерами отхваченной порции.

— Я буду есть и ты будешь есть, — скромно ответил тот.

— Но здесь же на десять человек?

— Ничего не значит... Наши ноги сегодня работали за десять человек... Необходимо восстановить их мышечную ткань посредством введения в организм достаточного количества белковой пищи, то есть мяса, иначе завтра нас на много не хватит...

Снова Востров завел свою говорильную машинку на добрых полчаса. О пищевых элементах, о калорийности пищи, о соотношении между работой и питанием, между умственным и физическим трудом, о тренаже и трудовой закалке полилась воодушевленная речь к вящей досаде черных лес-

ных котов, появившихся с темнотой в густом подлеске и гонявшихся за распуганной голосом дичью.

Суровый пихтовый лес делался суровее и суровее с каждой секундой. В Закавказье темнеет рано. Причина— высокое стояние горизонта, вследствие гористости перспектив. Темнеет рано и резко, без всякого предупреждения. Так же резко и без предупреждения закончил свою речь увлекающийся лектор, неожиданно стукнувшись лбом о ствол дерева, принятый им в наступившей темноте за газообразное пространство.

— О, черт...— проговорил он испуганно. — Кто-то меня ударил... Ваньк, где ты? Ваньк!.. Ванька!..

Рабфаковец не отзывался, рабфаковец пропал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

На плоскогорье, к водопаду, освобожденному дьяконом из скалистого плена, подъезжали двое всадников.

Чудное солнечное утро — первое после пропажи рабфаковца — свежий, отдохнувший за ночь, бодрящий воздух и умиротворяющая тишина ничуть не бодрили и не умиротворяли духа двух туристов, остановившихся подле студеной струи, чтобы напоить лошадей. Один из них, с хищным крючковатым носом и звериными глазами, говорил резко, отрывисто, повелительно и зло; другой — с хроническими бутонами любви на подбородке и с косящим взглядом — пребывал в мрачном спокойствии и лишь изредка подавал реплики, произнося их голосом грубым и непочтительным. Первым был эсер и авантюрист Сидорин, вторым — его ближайший помощник и путеводитель по Кавказу Аполлон прекрасный.

— Я определенно заявляю. Определенно заявляю, — гвоздил зло и резко Сидорин, ударяя по лунке седла нерв-

ной рукой. — Отвратительный рабфаковец жив... Мы идем сейчас по его следам...

— Позвольте, — возразил грубо, но спокойно, прыщавый Аполлон. — Прежде всего: откуда вы знаете, что рабфаковец жив, и потом, какими это судьбами вы попали на его след, если допустить, что первое имеет какое-нибудь основание?

— Извольте, я вам отвечу на оба ваших вопроса, — с видом нескрываемого превосходства над своим гидом отвечал Сидорин. — Первый... Вы не присутствовали на заседании меньшевистского ЦК и не присутствовали, надо сказать, к своему счастью, так как из 21 человека, прибывших на это заседание, обратно ушло только трое: я и еще два грузина. Остальные остались навсегда в том подземелье, где мы заседали... Заседают там и посейчас... ха-ха-ха... Знаете ли вы, что такое там приключилось?..

— Слышал, но плохо... — буркнул в ответ Аполлон.

— А вот я вас познакомлю обстоятельней.. В тот самый момент, когда один из членов ЦК собирался докладывать собранию о местонахождении в Закавказье детроитных руд... о предположительном, правда... В этот самый момент, ни на секунду раньше или позже, в двери нашего подземелья хлынули потоки моря...

— Ага, — кивнул Аполлон, — это, должно быть, в связи с тем водоворотом у побережья, который виден был из города?..

— Должно быть... Знаете ли вы, что морским наводнением затоплены и разрушены все наши подземные ходы и пещеры? Что люди, посланные за рабфаковцем, за отвратительным рабфаковцем, все до одного погибли? Что из 28 человек меньшевистского ЦК сразу выбыло из строя 18 человек? Что весь мой багаж и документы остались в потоках воды, и их нельзя теперь достать вследствие разрушения, причиненного наводнением?!..

— Ну, ну... — ждал своего Аполлон.

— Вот вам и ну, — вспылал Сидорин. — Как по-вашему, кто виновник всего этого происшествия, одним ударом причинившего столько бед?..

— Рабфаковец?.. — ехидно спросил Аполлон.

Сидорин чуть не свалился с лошади от этого непочтительного вопроса.

— А кто же? Кто?.. — завопил он. — Кто другой способен на такую подлость? Кто, как не отвратительный, пронырливый рабфаковище может нанести столько ударов за один раз?.. Кто?..

Сидорин задохнулся в припадке необузданного гнева и сильно дернул за поводья свою ни в чем не повинную лошадь. Горячая кабардинка встала на дыбы, перевернулась и вскачь пустилась по неровной каменистой почве, трепля в седле всадника... Аполлон догнал его через несколько минут и с прежней флегмой попросил ответа на свой второй вопрос.

— Откуда я знаю, что мы идем по следам этого рабмерзавца? — переспросил, крича, Сидорин. — Откуда? Надо иметь глаза и нюх, больше ничего, и тогда все станет ясным без объяснений...

Аполлон с удивлением огляделся вокруг себя, но следов рабфаковца не открыл; понюхал воздух — тот же результат.

— Ну? — флегматично спросил он. — Ничего не вижу и ничего не нюхаю, если можно так выразиться...

Но Сидорин уже погрузился в суровую задумчивость и в течение следующего часа не обмолвился ни одним словом.

«Ну и черт с тобой, — подумал равнодушно Аполлон. — Не хочешь говорить, не надо. Подумаешь, какая потеря!..»

Они в дружном молчании пересекли каменистое плоскогорье, в дружном молчании вступили под зеленый шатер хвой и еще час проследовали таким же порядком вглубь леса. Сидорин шел по горячему следу. Суровая гримаса его лица по временам искажалась судорожным тиком, когда он, склонившись на луку, отмечал взглядом новые следы, — следы, для Аполлона совершенно невидимые.

Аполлону, дремавшему в сидячем положении, моментами казалось, что впереди него не знаменитый авантюрист и заклятый враг большевиков едет, а парит в воздухе

хищная птица, вроде ястреба-стервятника, что ли, распластавшая крылья и склонившая свой стальной клюв к земле, где чирикают беззаботно воробьи. Грозный враг — рабфаковец Безменов — ему представлялся, благодаря сладкой дреме, именно таким воробьем, беззаботно запятнавшим лес своими следами...

А лес таинственно шумел, бросая сверху сухие ветви на всадников и лошадей. Под этот шум хорошо дремалось...

Вдруг, после трехчасового с лишком безмолвия, Аполлон услышал возбужденный голос своего товарища; собственно, сначала он услышал пугливое фырканье лошади, а потом голос.

Кабардинка Сидорина резко остановилась перед черным провалом в почве, усыпанной отмершими иглами, и дальше идти не пожелала. Всадник исхлестал ее нагайкой, но тронуться не заставил ни на шаг. Аполлон, подъехавший на шум, тоже принужден был остановиться, так как и его лошадь заупрямилась.

— Что за черт!.. — орал Сидорин, соскакивая с лошади и осторожно заглядывая вглубь провала... Вдруг его ноздри задвигались, заходили, как у породистого волкодава; на лицо набежала мертвенная бледность, а за ней хлынула краска; заблестали дикой радостью звериные глаза.

— Рабфаковец!.. — взвизгнул он. — Рабфаковец!.. Ха- ха- ха!..

В дырку заглянул Аполлон и убедился, что его достойный друг не бредит и не сошел с ума: в яме лежал ненавистный их эсеровскому сердцу неподвижный рабфаковец.

— Веревку! Веревку!.. — кричал Сидорин, задыхаясь в бурном прибое радости.

Он сам, не дождавшись Аполлона, прыгающими руками отцепил веревку от седла, одним концом ее обвязал себя вокруг пояса, другой прицепил к луке седла.

Через несколько минут холодное тело рабфаковца лежало на мягкой хвое, и два авантюриста ощупывали, обыскивали, переворачивали его с лихорадочной поспешностью.

— Дохлый! — прохрипел Сидорин, убедясь наконец, что рабфаковец не подает признаков жизни.

— Дохлый! — подтвердил и Аполлон раскосый, скривившись в ответной улыбке и этой улыбкой давая понять, что его друг нашел самое настоящее прилагательное.

Сидорин вскрыл сумку, снятую со спины рабфаковца, выбросил оттуда все и вдруг застыл в позе собирающейся прыгнуть ехидны... Перед ним лежала карта Абхазской республики, и по карте четким пунктиром тянулась линия через горы, долины, леса к верховью реки Ингура...

— Урра!!! Кричите: урра!!! Ура кричите!.. — в бешеном восторге загвоздил Сидорин.

— Урррра!!! — подхватил его друг. — Ура! Ура! Ура! Гигип!!!

Ящерица-агама, наскочив на полоумных авантюристов, задрала хвост и в смертельном страхе метнулась в сторону. Безобидная медянка, проползавшая мимо, впала в катаlepsию. Воробей, сидевший на ветке в тяготении к лошадиному помету, камнем свалился в кусты...

Когда острый припадок необузданного звериного восторга прошел, авантюристы спохватились.

— Его надо спрятать, — сказал Сидорин, указывая на труп. — Здесь оставлять — опасно. За нами может быть слежка и нам могут приписать это убийство. Берите его за ноги...

Приятели взвалили труп на седло и двинулись в путь.

Через некоторое время лес оборвался известняковой прогалиной, широко открытой со всех сторон. Далеко впереди стояли высокие горы.

Им везло: в пористой известняковой почве, размытой дождями и потоками, они без труда нашли достаточной величины углубление. В это углубление был сброшен труп рабфаковца и завален широкой плоской, словно приготовленной нарочно, каменной плитой.

Совершив, таким образом, упрощенное погребение и чувствуя себя на десятом небе от блаженства, авантюристы тронулись в путь. Теперь они знали, где искать детрюит. Но и осиротевший Митька Востров знал... куда они следуют...

Потеряв ночью своего товарища и с горя чуть не потеряв рассудка, он заночевал тут же, где стукнулся лбом о

призрачное дерево. Над ним жутко шумели пихты и ели; ночные голоса невиданных зверей коварно кружили вокруг да около; из темноты кто-то мягкий, огромный и расплывчатый дул горячим дыханием в лицо. Но робкий по природе Митька поборол жуть и робость, храбро, ни на одну секунду не смыкая глаз, дождался рассвета и энергично принялся за поиски друга.

— Не провалился же он сквозь землю? — здраво рассуждал он. — И не слопал его медведь? И не мог он попасть в плен к краснокожим, потому что краснокожих здесь нет?..

Однако рабфаковца нигде не было, а разбираться в следах Митька не умел. Понемногу его логика начала сдавать перед загадочным исчезновением. Он стал строить самые невероятные, дикие и нелепые предположения. Например:

— Прячется где-нибудь за деревом, шалопай... Это меня возмущает...

Или:

— А может, его никогда и не было?.. И меня нет... одна фикция и больше ничего...

Потом он услышал голос сверху:

— Иди на горы и смотри...

Голоса никогда не были для него новостью. Только он всегда боялся их слушать. Ведь в психиатрической клинике они ему не раз и не два советовали: откусить себе язык, броситься из окна на тротуар, повеситься на полотенце или задушить самого себя.

По здравому рассуждению, последний голос тоже был несомненной галлюцинацией, но он как будто бы не грозил никакими опасностями. Кроме того, — Востров вернулся к первому своему предположению, — кроме того, возможно, что это был голос Ваньки, укрывшегося где-нибудь наверху в густой кроне.

— Пойдем, Митяич, на горы, — пригласил сам себя Востров и затаил в сердце своем обиду против коварного друга.

Горы оказались не особенно близко расположенными. «Митяичу» пришлось пройти лес насквозь, перейти благоу-

хающую долину, перебраться через глубокое ущелье, и лишь через полуторачасовой промежуток он достиг горного кряжа, доминирующего над ближними и далекими окрестностями, и забрался на его наиболее выдающийся пик.

Голос, толкнувший Вострова на это путешествие, оказался голосом здравого смысла, поборовшего новый приступ сумасшествия. Раздвоение сознания у больных циклофренией, — у циклофреников, как сокращенно называют их врачи, — один из главных симптомов начала этой болезни. Загадочная пропажа приятеля вызвала у Митьки это раздвоение, и будь он в напряженной лабораторной обстановке, а не в смолистой животворной чаше, опять могло случиться, что победа осталась бы на стороне больной половины сознания.

Как только Востров поднес к глазам подзорную трубку и навел ее на злосчастный бор, он воздал хвалу голосу своего здравого смысла. Он увидел, как на известняковой прогалине среди леса остановилось двое всадников, у одного из них через седло свешивалось тело пропавшего рабфаковца. Был ли тот мертв или находился в глубоком обмороке, на таком расстоянии ни обыкновенный врач, ни врач, вооруженный трубой, не смог бы различить. Не различил этого и Митька Востров. Авантюристов же он узнал с первого взгляда и, похолодевши вдруг, вспомнил, что у Безменова в сумке хранилась географическая карта с отмеченной на ней дорогой к «Долине Смерти»... Он немедленно в приступе ярости, боли и ненависти хотел бежать туда, к известняковой поляне.. И снова голос благоразумия — на этот раз внутренний, а не внешний — дал ему мудрый совет:

— Останься.. Посмотри до конца. Проследи путь авантюристов... — сказал он, и Востров, сдерживая ярость и нетерпение, остался.

Он видел, как его бедного друга запихнули в известняковую пещеру и заложили камнем. Видел, как авантюристы после этого спокойно продолжали путь, взяв верное направление на «Долину Смерти»...

Бешеная мысль: настигнуть злодеев и отнять у них карту, — вспыхнула в горячечном мозгу Вострова... и немедленно погасла, как только проснулась скорбь о погибшем товарище. Все-таки с горы он спустился сломя голову, но опять минимум час потребовался ему для обратного перехода: ущелье, долина и лес. В лесу прогалина.

Задыхаясь, Митька устремился к пещерке — гробнице Безменова... А перед нею стал, как вкопанный, кулаками протирая глаза: плита была отвалена и пещерка пуста...

— Тэ-тэ-тэ... Подождите... — сказал турист с бритым лицом и квадратным подбородком, играя кинжалом, подвешенным у стройного горца-мингрельца к поясу. — Подождите, вы говорите слишком быстро и, кроме того, с большим акцентом, а я сам не русский и плохо понимаю по-русски... Вы сказали, что видели человека исцарапанного и с длинными волосами, пешком проследовавшего в этом направлении?..

— Так, — подтвердил горец. — Кацо вэрно говорит, я видел...

— Это мой брат, — вздохнул турист, — но он сумасшедший, понимаете?..

— Понимаю, кацо... Это значит, у него здэсь финтиль-минтиль?..

— Вот-вот, — согласился турист и снова вздохнул. — Давно он здесь прошел?

— Два дня тому назад, кацо...

— Благодарю вас...

— Пожалста...

Турист прыгнул в седло и помчался в направлении хвойного леса, широко раскинувшегося по одному из западных отрогов Кавказского хребта.

Иван Безменов, следуя впереди своего приятеля, распинавшегося о преимуществах растительной пищи перед мясной, а мясной перед растительной, неожиданно прова-

лился в волчью яму. Так неожиданно, что не успел даже вскрикнуть. Упав, он сильно ударился головой о каменистое дно, но сознания не потерял. Сознание продолжало работать, парализовались лишь органы движения и центр речи. Это было следствие сотрясения мозга. Это была летаргия.

Впечатления от внешнего мира доходили до него в несколько затуманенной, но все-таки понятной форме. Он слышал, как внезапно оборвал свою речь увлекающийся лектор; слышал его испуганное восклицание и зовы, но не мог в ответ ни крикнуть, ни пошевелить рукой.

Странное это было состояние. «Я ведь не сплю, — говорил он себе, — и в то же время мое состояние похоже на сон. Похоже на утреннюю дремоту, когда тебя будят, а ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой...»

— Я сейчас стряхну это оцепенение, — думал он ежеминутно, но чего-то такого не хватало, чтобы привести эту мысль в исполнение.

Минута шла за минутой; вырастали часы; часы уходили в вечность. Наконец, над головой блеснул утренний рассвет, а рабфаковец все лежал и думал, что вот сейчас он встанет и крикнет Митьке, тревожный голос которого был опять подле ямы. Он слышал, как Митька рассуждал сам с собой, строя дикие предположения. Ему было смешно, но даже улыбнуться он не мог.

Митька ушел искать горы, и рабфаковец подумал, что вряд ли он увидит оттуда яму.

Потом послышался хруст сухой хвои. Приближались люди на лошадях, они молчали. Рабфаковец, чувствуя, как похолодели его конечности, словно у мертвеца, последний раз подумал, что вот сейчас не мешало бы крикнуть, иначе ему крышка. И опять не смог крикнуть. Тогда кто-то крикнул вместо него. В голосе он узнал своего заклятого врага Сидорина и обрадовался ему, как другу.

Кто-то спустился в яму. Чьи-то руки, не отличавшиеся излишней мягкостью, пропустили под его плечи веревку. Веревка натянулась, и рабфаковец попал в царство света и

живительного тепла. Его веки были закрыты, даже их он не мог поднять.

Его грубо обыскали, переворачивая без нежностей, выворачивая карманы без зазрения совести и пиная ногами с большим мастерством. Потом два голоса — один за другим — злорадно крикнули: «Дохлый!» — и оставили его в покое.

Занятый решением остро поставленной дилеммы, дохлый он или не дохлый, рабфаковец не обратил большого внимания на то, что авантюристы, вскрыв его сумку, нашли там географическую карту.

— Все-таки я не дохлый, — решил он, когда его взваливали на спину лошади. — В мире существует одна материя, — продолжал он философствовать, мотая руками и ногами в такт хода лошади. — Если же допустить, что мне вышла крышка, значит, я сейчас слышу и соображаю каким-то бестелесным духом. Чепуха. Идеалистика. Я живой...

Его провезли недолго и, в подтверждение правильности решенной им дилеммы, причинили ему острую боль в коленном суставе. Это произошло оттого, что правая его нога подвернулась под туловище... Стукнул камень, преградивший в пещеру доступ живительного тепла и воздуха.

Через несколько минут рабфаковец почувствовал, что начинает задыхаться. Борьба между роковым оцепенением и острым желанием жизни возобновилась с новой силой. Длилась она еще несколько минут, и сила жизни победила.

Сконцентрировав всю свою волю на одеревеневших мышцах левой ноги, рабфаковец смог, наконец, толкнуть ею отгораживающий его от солнца и воздуха камень. Выползал из пещерки он, подобный змее, очоленевшей от холода. Конечности не слушались. Но как только знойное светило насквозь пронизало своими лучами оцепеневшее тело и наполнило теплотой застывшую кровь, рабфаковец встал на ноги. Массажем он быстро восстановил нормальную циркуляцию крови, а вместе с тем и отчетливость мысли.

— Нужно догнать бандитов. Нужно во что бы то ни стало лишить их возможности использовать карту. — Что мысль эта явилась не как следствие летаргической расслабленности мозгов, а как результат зрелого размышления, не признающего препятствий и оттяжек, показало поведение рабфаковца. Он во всю прыть, несмотря на боль в коленном суставе, пустился догонять бандитов.

Они, видимо, не спешили, так как уже через полчаса рабфаковец завидел их. И только тогда он сообразил, что гонится за хищниками с голыми руками: у него не было ни карабина, ни револьвера, ни даже перочинного ножа — бандиты все забрали... очистили до последней нитки...

Сдержав свою прыть, рабфаковец, тем не менее, продолжал преследование, прячась за стволами деревьев. Он рассчитывал на помощь всемогущих обстоятельств.

Теперь всадники благодушно беседовали. Сидорин то и дело заливался отрывистым деревянным хохотом, чем-то дразня своего мрачного товарища. Тот огрызался в ответ, впрочем, вполне миролюбиво. Подкравшись на расстояние четырех-пяти саженей, невидимый наблюдатель услышал приблизительно такой разговор:

— Аполлон, Аполлон, так сколько, говорите, домов отобрали у вас большевики?..

— Пять, сволочи...

— А где?.. Один на Лубянке, другой?..

— ...другой на Полянке, третий на Якиманке, четвертый на Поварской, пятый на Тверской...

— Хе-хе-хе... ловко!.. В рифму отбирали... А сколько они вам оставили?

В ответ на второй вопрос Аполлон мрачно засопел носом и сосредоточенно уставился в сторону. Сидорин опять раскатился деревянным смешком.

— А что мы с вами сделаем, когда у нас будет детрюит?.. — снова задал вопрос Сидорин и с видимым наслаждением стал ждать ответа.

Аполлон круто повернулся в седле и выпалил, смакуя:

— К чертовой бабушке взорвем Кремль, передадим большевиков, расколем черепа комсомолятам, передушим пио-

неров!..

«Маньяки, — заметил себе рабфаковец, — надо их поскорее ликвидировать».

...Неожиданно рокот лесного водопада покрыл птичий гомон и оборвал разговор полоумных друзей. Седая скала открыла белую, как снег, и пушистую, как вата, ленту студенной воды. Авантюристы, томимые зноем и жаждой, резко свернули в сторону соблазнительной влаги.

Пользуясь шумом воды, рабфаковец подобрался к ним почти на две сажени. Густые заросли папоротника способствовали ему в этом. Уже не стало слышно разговора, но видно было, как шевелятся губы друзей, возобновивших приятную беседу. Затем они подъехали к водопаду, к которому потянулись лошади, и заговорили с еще большим оживлением. Сидорин соскочил с седла, за ним — Аполлон. Лошади были отведены в сторону, им не дали напиться, и рабфаковец решил, исходя из этого, что обстоятельства складываются в его пользу: если лошадей не поили сейчас же, значит, бандиты не рассчитывали на немедленное продолжение пути; значит, они собираются отдохнуть, может быть, закусить.

Покрытые мылом кони стояли от него в трех аршинах. На одном из седел висел его карабин...

«Прыгнуть, сорвать карабин, пристрелить обоих бандитов...» — родилась отважная мысль в голове рабфаковца, но он не успел сделать этого: бандиты снова подошли к лошадям. Они расседлали их и седла вместе с переметными суммами перенесли на берег водопада.

— Растяпа... — укорял себя рабфаковец. — Упустил хороший момент... — Но тут же он задрожал от охватившей его радости: бандиты раздевались; бандиты хотели освежиться в студенном потоке...

Прошло минут пять, пока последняя часть туалета не была снята с распаренных тел. За это время рабфаковец успел приблизиться еще шага на три. Подобраться ближе он не мог, так как заросли обрывались в полутора сажнях от водопада. Теперь голые авантюристы стояли на краю водопада вполуборот к невидимому наблюдателю и давали

себе остыть прежде, чем окунуться в пенистую, клокочущую влагу.

Невольно рабфаковец отметил массивность мускулистых форм одного из авантюристов и звериную ловкость другого. Аполлон в голом виде скорее заслуживал наименование Геркулеса, чем бога солнца, имя которого он носил. Сидорин же имел телосложение и грацию гибкой пантеры, и в мягкой резвости его движений чувствовалось коварство хищника.

«Парочка отменная», — подумал рабфаковец и решил не злоупотреблять своей отвагой. Из-за своего прикрытия он видел, что ближний берег не представлял удобств для купания, в то время как на противоположном находился небольшой водоем, где вода не пенилась и не клокотала. Если приятели хотят хорошо искупаться, они должны будут перейти на тот берег. Так подумал рабфаковец и оказался прав.

Бандиты дали своим телам остыть, затем разбежались и прыгнули через неширокую ленту воды. В ту же секунду выскочил из-за своего прикрытия не знающий страха рабфаковец...

До одежды и до седел, подле которых лежало оружие, было не больше полутора сажен, но он забыл о своем больном суставе и... запнулся на первых же шагах, поддав ногою отмерший сук. Сук затрещал.. Сидорин, висевший в этот момент над серединой водопада, кошкой перевернулся в воздухе, упал на ноги на противоположном берегу и, сейчас же оттолкнувшись от него, прыгнул в обратном направлении... Рабфаковец, пренебрегая мучительной болью в опухшем суставе, сделал отчаянный прыжок вперед. Они столкнулись как раз над оружием — оба с одинаковой инерцией... Сидорин скользким угрем увернулся от объятий, которые ему приготовил рабфаковец, и проскочил меж его ног, не успев, однако, поднять с земли револьвера. Он во второй раз попытался увернуться от враждебных объятий, но был пойман сзади за пояс... Рабфаковцу нужно было смотреть в оба; он ничего бы не имел против, если бы у него в этот момент было четыре глаза: два спереди, два



сзади... Метнув через себя легковесного Сидорина в водопад, он тотчас же обернулся и столкнулся с массивным Аполлоном. Аполлон сохранил инерцию прыжка, и рабфаковец был опрокинут ею на землю... На противоположном берегу выбирался из воды Сидорин... Рабфаковец здоровым коленом поддал в живот насевшую на него тушу, и туша, екнув, перелетела через собственную голову... Опять прыгнул Сидорин, но на этот раз неудачно: вскочивший на ноги рабфаковец поймал его в воздухе и снова метнул в водопад — к тому берегу. Теперь снова предстояло помериться силами двум гигантам... Аполлон устремился на своего врага с зажатым в кулаке булыжником... Булыжник свистнул мимо головы рабфаковца и угодил в спину вылезавшего из воды Сидорина. Сидорин был выведен из строя... Свободный кулак массивного Аполлона встретил на своем пути подставленную ребром железную руку, в то время как другая ударила его в угреватый подбородок. Аполлон прикусил язык, плюнул кровью и, озверев, кинулся на рабфаковца, не обращая внимания на его удары. Они схватились крест-накрест и стояли несколько секунд в окаменелой неподвижности, словно шутили, словно обнимались в дружеском расположении. Потом Аполлон рывком дернулся к земле, упал на спину, рассчитывая приложить врага лбом о землю, но враг, падая, успел освободить руки и упереться ими в его подбородок. Аполлон стукнулся затылком с двойной силой, и его стальные тиски разжались; он все же сделал судорожную агоническую попытку подняться, но, получив удар в висок, замер, широко раскинув руки... Обернувшись вовремя, рабфаковец заметил в упор направленный на него револьвер: это оживший Сидорин подкрался пантерой... Прогремел выстрел — рука с револьвером повисла плетью, перешибленная в предплечье, куликом пуля же провела кровавую борозду на темени рабфаковца, вырвав ленту волос. В эту же секунду опрокинулся наземь Сидорин, получив от него новый удар — в переносье.

— Уф... задали они мне пару, — отдувался Безменов, связывая бандитов их же веревками.

Когда он седлал лошадей, намереваясь на них доставить пленников в Сухум, затрепал валежник и на всех парах к водопаду прорвался сквозь папоротник красный, потный и задыхающийся Митька Востров. Он ничуть не удивился, завидя друга, пребывающего в добром здравии.

— Я слышал выстрел!.. — тревожно выпалил он, кося глазами без зазрения совести и не замечая поэтому связанных бандитов.

— Да, выстрел был, — откровенно сознался рабфаковец и улыбнулся на потешного друга, — вот и след... — Он показал на кровавую полосу на своем темени и струйки крови на лице.

— Вульнус капитис касатикус! — воскликнул Митька озабоченно и полез в сумку за бинтами.

— Что сие означает? — спросил Безменов, делая испуганное лицо. — И на каком наречии?..

Митька, роясь в сумке, отвечал торопливо:

— Вульнус капитис, — это значит рана головы, а касатикус — касательная... первые два слова — по-латыни, а последнее, извини, я уже сам придумал... забыл, как по-латыни «касательная»...

Он нашел, наконец, бинт и на покорно подставленную голову рабфаковца мигом надел марлевый шлем. Потом он заметил вздувшийся чудовищно сустав друга и, как тот ни сопротивлялся, немедленно разрезал ему всю штанину.

— Почему бы не снять? — протестовал рабфаковец.

— Нельзя, — безапелляционно отвечал врач. — Эсмарх и еще Шперлинг и масса других советуют всегда разрезать одежду вокруг пораненного места... Нельзя, друг, терпи...

Обследовав распухший сустав, он воскликнул, и в этом восклицании рабфаковец учуял вместе с испугом большую долю профессионального восхищения:

— Какое громадное «дисторзио»!..

— Опять что-нибудь «сам придумал»? — печально отозвался рабфаковец, ужасаясь видом своей ноги.

— Нет, это чистая латынь, и значит она «растяжение»...

— Но зачем жарить по-латыни, когда гораздо понятней по-русски? — возразил рабфаковец, кривясь от исследова-

ний врача.

— Нельзя, друг,— снова отвечал тот,— где это видано, чтобы болезни назывались по-русски? И никто лечиться не станет...

— Ерунду мелешь!.. — энергично произнес рабфаковец, но чтобы не раздражать врача, и без того слишком интенсивно манипулировавшего с суставом, он не развил своей мысли дальше.

Митька положил на распухший сустав примочку из свинцовой воды — аква плюмби, пояснил он — и изрек, важно склонив голову набок:

— Извольте лежать в постели. Начать ходить можно только через две недели, иначе на всю жизнь останетесь хромым...

В это время подле него раздался стон.

— Я так и знал! — досадливо воскликнул врач. — Стоит мне вынуть врачебную сумку, как больные начинают сыпаться горохом... Кто следующий?..

Он перевел взгляд в сторону и вскочил с вытаращенными глазами.

— Что!? Что!? Что-о? Друзья-приятели?! Бандиты?! Сидорин и Аполлон прекрасный! Кого я вижу? Вас ли?!.. Аха-ха-ха! Как поживаете, голубчики?

— Сволочь большевистская!.. — в ответ крикнул очнувшийся Сидорин.

— Сволочь большевистская? — переспросил Митька. — Это звучит гордо... Благодарю...— и потом, сдержав свои восторги, серьезно обратился к рабфаковцу: — Что ты намерен делать с ними?..

— Если бы это было года три назад, — отвечал тот со вздохом, — я поставил бы их вот к этой скале... а теперь их придется доставить в город...

— В город?.. Это далеко... Разреши, я им вскрыю внутренности, повторю анатомию...

— Туда же — врач... интеллигент... — издевался Сидорин. — Сука ты, красная сука, а не врач...

Митька налился кровью, а так как в руке у него был скальпель, особенно удивительным не было бы, если бы он

пустил его в действие. Этого не произошло только потому, что Дмитрий Востров — «старший и единственный врач и прочее» — был человеком громадной силы воли... Он сдержался, плюнул гневно в сторону авантюристов.

— В город далеко, — решительно сказал он, — я видел с горы: верстах в трех отсюда есть селение, можно туда сдать, в исполком, эту мерзость...

Но везти авантюристов он отказался, мотивируя свой отказ тем, что они представляют слишком большой соблазн для его анатомических запросов души, и так же решительно запретил это делать другу.

— Тебе нужно лежать... — сказал он категорически и некатегорически добавил: — Две недели...

— Но... верхом?..

— И верхом нельзя... Лучше ты побудь около них, пока я съезжу в село и привезу оттуда милиционера...

На этом они и порешили. Но тут Митька вспомнил вдруг о своей карте:

— Давай, давай, давай ее сюда... где она?..

Карту нашли в одежде Сидорина. Митька торопливо развернул ее, пробежал глазами сверху вниз и снизу вверх и удовлетворенно крикнул, найдя, что из карты ничего не исчезло. Затем, запрятав ее глубоко в карман, он поехал в село.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Нужно было подняться в гору, продравшись через буйные побеги молодняка пихты; затем по опушке леса, увитого лианами, доехать до глубокого ущелья, разрубавшего лес на две части, и по ущелью, нигде не сворачивая, по горной речушке, бесившейся в узком русле, напрямик следовать до селения. Дорогу-то Митька хорошо знал. Не потому, что он здесь когда-то был, наоборот, как раз в этом

месте никогда не был. А потому, что хорошо ее запомнил, когда, трепетно прижавшись к подзорной трубе, с горы искал пропавшего друга.

Дорогу-то Митька знал. И поэтому, спустившись в ущелье, к речонке, бесившейся по круглолобым камням, сейчас же заблудился... Впрочем, это произошло не сразу: «сейчас же» — понятие растяжимое от одной минуты до шести-десяти...

Все шло хорошо до той самой поры, пока из-под полуразрушенного дождями, солнцем и ветром пласта бурого песчаника в диком обрыве ущелья не выполз на свет белый пласт рассыпчатого мергеля с включенными в толщу его любопытными окаменелостями. Пласт мергеля — Дмитрию ли Вострову в этом сомневаться? — не-сом-нен-но, безо-го-во-роч-но принадлежал к кайнозойской эре развития земли; Востров скажет, беря это на полную свою ответственность, точнее: к эоценовой ее эпохе. Почему? Да потому, что наряду с прослойками мергеля встречались жилы бурого угля и залежи аспидного сланца, некогда образованные обширными лесами и болотистыми лугами, характерными для кайнозойской эры. Если этого мало, пожалуйста, — имеются еще гораздо более неопровержимые доказательства: между бурым углем и мергелем, наполовину выдаваясь в воздух и висая над обрывом, находился выбеленный солнцем череп древнего животного — анаплотерия, как известно, совмещавшего в себе признаки носорога, быка и свиней. Какой невежа осмелится заявить, что анаплотерий появился раньше эоцена? Никакой... Впрочем, если кто и осмелится, ему никто не поверит... Следовательно, пласт мергеля не-ос-по-ри-мо принадлежал к кайнозойской эре развития земли, именно к эоценовой ее эпохе.

Но тут и была зарыта собака: над мергелем шел пласт бурого песчаника... в песчанике были включены окаменелости гигантских раковин — аммонитов — величиной с хорошее колесо от телеги и гигантских каракатиц, имевших на задней части туловища раковину в два фута длиной... Но дело не в величине, не в каракатицах и аммонитах, на-

ходки которых не составляют большой редкости, а в том, что пласт песчаника — Вострову ли в этом сомневаться? — несомненно, безоговорочно был древнее пласта мергеля на целые десятки миллионов лет, принадлежа к мезозойской эре, а он... а он... лежал над последним (?!)...

— Даю голову на отсечение!.. — громово вскричал Дмитрий Востров, вылетая из седла и карабаясь по мергелю к черепу анаплотерия.

— ...голову на отсечение! Тут природа сыграла жестокую шутку над молодой наукой геологией... Где это видно, чтобы более древний пласт лежал над менее древним?! Где это видно, говорю я!?

Но череп анаплотерия, скаля потрескавшиеся и оббитые веками зубы, безоговорочно заявлял о своей принадлежности к эоценовой эпохе, к пласту мергеля, на котором он жил и в котором был погребен...

Лошадь Вострова, не чувствуя над собой присмотра и опеки, задрав хвост пожеребьячи и взвизгивая от удовольствия, понеслась одна по направлению течения бурливой речонки. Митька, конечно, на такую мелочь не обратил ни серьезного, ни какого другого внимания. Он чувствовал одно: ему нанесено оскорбление, которое может быть смыто только кровью, и поэтому, обрывая пальцы в кровь, он полз и полз вверх по пласту, в котором застряла ехидная голова...

Детальное обследование подтвердило ему, что или природа в припадке ребячьей проказливости перековеркала пласты, или геологи со всей своей молодой наукой сели в глубокую калошу, в которую (признаться) они частенько саживались и раньше.

Но ведь это же грустно! Это, во-первых, подрывало в Митьке веру в науку, во-вторых, перевертывало всякое представление его о ходе геологических процессов на земной поверхности...

Грустный, с опечаленными глазами, с поникшими к земле плечами, Митька сполз с обрыва и, погруженный в тягостные думы, машинально побрел вниз по реке, очень смутно представляя себе, за каким чертом он идет куда-то?.. По-

том, придя в нормальные свои чувства, он сообразил, что заблудился.

...Ущелье имело несколько рукавов, похожих друг на друга, как две слезы из одного глаза...

О своем коне, на котором остались карабин и походная сумка, Дмитрий Востров забыл безотносительно. Конь был лишь случайным эпизодом в его путешествии: как можно было помнить о каком-то коне?

Отчаявшись найти дорогу, он снова полез на обрыв в надежде с его вершины увидеть потерянное, но, не добравшись до нее, заметил дымок, поднимающийся из того же ущелья. Это заставило его спуститься обратно.

Дымок поднимался от костра, разложенного на берегу речонки под навесом мшистой скалы. Около костра за куст бузины были привязаны две лошади, а около них, на походном стуле, укрепив зеркальце в трещине громадного валуна, сидел человек с квадратным подбородком и брился. Он кинул на подходившего короткий спокойный взгляд, намылил щеку и тогда спросил:

— Вы ищете свою лошадь?

— Н-нет... то есть, да!..— отвечал Востров, вдруг вспоминая, что ведь лошадь-то у него, действительно, была.

— Тэ-тэ...— сказал человек с квадратным подбородком, не отрываясь от зеркальца. — Как можно так отвечать?.. Ищете вы или не ищете?..

— Ну да, ищу...

— Вот она, привязана...

— Да, я уже заметил... благодарю вас...

Не дожидаясь приглашений, Митька опустился возле костра, на котором варилось в котелке что-то очень вкусное и приятно щекочущее обонятельные нервы.

— Что это у вас варится, гражданин? — спросил он, вспоминая, что не ел со вчерашней ночи.

— Суп, — отвечал квадратный подбородок, продолжая энергично скоблиться бритвой. — Суп из черепах...

— Речных, да?..

— Нет, на горе ловил...

— О, это, должно быть, очень вкусно...

— Я поделюсь с вами.

— Благодарю вас. Не смею отказаться... Знаете что? — вдруг перешел Востров к событию, взволновавшему его. — Иду это я по ущелью... Два пласта. Один, несомненно, эоценовый, другой — из мезозойской эры, приблизительно мелового периода... И представьте себе: первый пласт лежит под вторым (?)..

— Да-а-а... — изумился человек с квадратным подбородком, переворачиваясь на стуле с намышленной физиономией. — Не может быть...

— Представьте себе, что так... — уныло, но твердо возразил Митька.— Пойдемте, я вам покажу...

Но квадратный подбородок не выразил немедленного желания идти с Митькой и снова повернулся к зеркальцу.

— Вы уверены в этом? — тем не менее, спросил он с прежним интересом.

И Митька, задыхаясь от оскорбления, нанесенного ему черепом анаплотерия, торопливо, расплескивая голосом море горечи, поведал неожиданному собеседнику все свои соображения по поводу древности пластов.

— Это крайне интересно, — отозвался квадратный подбородок, проходясь в последний раз по гладко выбритым щекам. — Это крайне интересно... Пожалуйста, помешайте суп... А кто вы такой? Чем вы здесь занимаетесь?..

— Я Востров, Дмитрий Ипполитович... Геолог я, а вы?..

Человек на стуле резко обернулся и окинул острыми глазами изобретателя детрюита, пока тот мешал ложкой в котелке.

— А я — Ипостасин, Андрей Васильевич... — сказал он, продолжая колотить взглядом.

— Да что вы?.. — недоверчиво воскликнул Востров и даже приподнялся с земли.

— Вы слышали эту фамилию?.. — подчеркивая последние два слова, спросил назвавшийся Андреем Ипостасиным.

— Да как же, в одной квартире жили... не с Андреем, а с Василием... — поправился Востров.

Теперь изумился «Андрей Ипостасин».

— Тэ-тэ-тэ... Василий?.. Ведь это мой брат... В Москве жил на Никитской... Очень приятно, очень приятно с вами познакомиться...

— Н-но... — протянул Митька, с некоторой нерешительностью пожимая протянутую к нему руку, — ...мне Василий ни разу не говорил, что имеет брата...

— Это семейная история... — нахмурился «Андрей Ипостасин». — Семейная драматическая история... Мы были вынуждены жить врозь и — до некоторых пор — забыть друг о друге... Я жил с малых лет в Америке, он — в Москве...

Востров, безусловно, не поверил этому объяснению: слишком хорошо он знал дьяконовскую родню, но, сделав простоватый вид, спросил невинно:

— Где же теперь находится ваш брат?..

— О, теперь он важная шишка... — горделиво произнес «Андрей Ипостасин», продолжая упорно-пристально разглядывать нового знакомого. — Он, видите ли, сделал важное изобретение... Открыл новый элемент радиоактивного ряда и теперь переехал в Америку, так как Российское правительство не захотело купить у него изобретения...

— Это неправда!.. — брякнул Востров, по своему обыкновению наливаясь кровью. — Неправда!.. — повторил он и внезапно осекся, сообразив, что чуть было не перескочил за пределы своего инкогнито.

— Что такое? Что такое — неправда? — холодно прищурившись, спросил квадратный подбородок, и глаза его зажглись не то гневом, не то радостью.

Митька сразу превратился в добродушнейшего простака, а нутром насторожился, как перед боем.

— Извините, — сказал он с мелким, глуповатым смешком, — я совершенно забыл, что вы его брат... Но здесь какое-то недоразумение. Я Василия знаю так же хорошо, как самого себя. Он никогда не занимался химией, ведь он простой дьякон. Ваш брат тоже дьякон?..

— Он был дьяконом, — твердо сказал квадратный подбородок, — но теперь он уже не дьякон... давно бросил это занятие... Теперь он, как я уже имел честь вам сообщать,

известное лицо, большой изобретатель и почти миллионер...

Митька, чувствуя на себе пронизывающий взгляд подозрительного знакомца, снова подавил судорогу возмущения и воскликнул с дурашливым смешком:

— Всякие бывают метаморфозы под луной, друг Горацио...

— Совершенно верно, — согласился самозванец и пригласил Митьку к готовому супу.

За супом словесный бой продолжался, причем один из бойцов знал, чего он добивается, другой барахтался в самозащите. Англичанин — он же «Андрей Ипостасин» — вел определенную линию к установлению личности и истинных целей путешествия Вострова. Востров терялся в догадках, не зная, чего от него хочет странный путешественник, наводящий красоту на свои щеки даже в глухих дебрях гор.

После супа англичанин вызвался проводить Вострова к селению, дорогу к которому тот потерял. Митька поблагодарил и согласился.

Новые приятели, возобновив геологический разговор, не торопясь, двинулись в дорогу...

А Безменов ждал час, другой. Горячился, проклинал медлительность своего ученого друга и переругивался с бандитами. На исходе второго часа он не выдержал и, привязав бандитов к деревьям — на всякий случай, чтобы они об острые камни не перерезали пут, — поехал разыскивать приятеля...

...Около каузальных пластов Востров приостановил лошадь, выжидая, когда следовавший сзади англичанин поравняется с ним. Он хотел показать ему голову анаплотерия, так грубо нарушившую гармонию его геологических познаний, и снова пожаловаться на сумасбродную природу, уложившую пласты в порядке, не признаваемом геологией. Но... ему более не пришлось жаловаться...

Англичанин, действительно, подъехал сзади. И, взмахнув перевернутым хлыстом, массивным наконечником ударил его по голове. Митька клюнул носом в гриву лошади,

хотел подняться и получил второй удар, после которого скатился на землю.

Холодно и спокойно глядел англичанин на свою жертву, скорчившуюся у его ног в причудливой позе. Потом неторопливо сошел с лошади и педантично обыскал Митькины карманы. Нашел злосчастную карту... Пунктирная линия, ведущая вглубь страны, к горному кряжу и совпадавшая с указанным ему мингрельцем направлением, утвердила его в подозрении, что Дмитрий Востров не для изучения геологии приехал в Закавказье, а для розыска дьякона...

— Тэ-тэ-тэ... — усмехнулся он в хорошо выбритый подбородок. — Приятно, что я такой догадливый... Теперь я знаю, где искать дьякона...

...Проезжая по опушке леса, он был остановлен криками о помощи, шедшими из густой зеленой чащи, далеко снизу. Разумеется, это его нисколько не касалось. Но в криках о помощи не заключалось ничего такого, что говорило бы о смертельной опасности. Кричали в два голоса — равномерно, спокойно, монотонно. Шум водопада несколько заглушал голоса.

Кричали:

— По-мо-ги-те!.. По-мо-ги-те!..

Это было, по меньшей мере, любопытно, и англичанин свернул в лесную глушь.

Когда стало ясно, что кричали двое мужчин, в паузах переговаривавшихся между собой тихо, но без уныния, он слез с лошади, привязал ее к дереву, а сам неслышными шагами приблизился к месту странного происшествия.

Два голых человека привязаны к двум разным деревьям. Ни того, ни другого англичанин не знал. Люди, как будто, интеллигентные, если судить по лицам; во всяком случае, заслуживающие помощи.

— Что такое, господа? — спросил англичанин, выныривая из густых зарослей. Револьвер, разумеется, находился в его руке, а не в кармане.

Ответил человек с птичьим горбатым носом:

— Отвяжите нас скорее... Бандиты могут вернуться...

— Но кто вы такие?..

— Ах, да не все ли равно?.. Смотрите, как нас искусала мошкара...

Англичанин бросил равнодушный взгляд на обнаженные тела — на них не было живого места.

— Кто эти бандиты? — спросил он.

— Отвяжите, бога ради... Не видите разве, как мы страдаем?.. Это наши политические противники...

— К какой партии они принадлежат?..

— Большевики! Анафемские большевики!.. — промычал человек с разбитым подбородком.

— А,— сказал англичанин. — Тогда я вас отвяжу...

Вынув нож, он несколькими верными взмахами порезал путы, прикреплявшие Сидорина и Аполлона к деревьям.

— Больше я вам не нужен? — с изысканной вежливостью откланялся он и, не дожидаясь ответа, исчез в кустах.

— Проклятый англичанишка... — прошипел ему вслед Сидорин. — Что ему здесь нужно?..

Схватив одежду, бандиты, не одеваясь, прыгнули в кусты по стопам своего освободителя.

Через полчаса к водопаду вернулся Безменов с Митькой, ерзавшим по седлу тяжелым кулем. Рабфаковец мрачно глянул на опустевшие деревья, свирепо плюнул, но ничего не сказал. Тем более не мог сказать чего-либо его ошеломленный друг.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Привольно жилось дьякону в «обетованной пустыни», куда в конце концов, в конце всех мытарств, его приволокли израненные ноги. Здесь отдохнул он и душой, и телом, для души имея святость уединения, для тела обилие пищи. Елеем благодати наполнялось его сердце — по закону божию, седалище души, — а в подкожной отощавшей клет-

чатке, по физиологии Ляндуга, откладывался пухлый жирок. Святел, святел дякон не по дням, а по часам.

«Пустынь» была расположена на высоком скалистом утесе. В верхушке утеса ветер, дожди и солнце выдолбили две пещерки. Одну отшельник определил под молитвы и ночные бдения, другую — под провиантский склад.

Вокруг утеса хвойные леса усеченным конусом сходили вниз; вечными сторожами стояли кряжистые сосны и стройные пихты — плечо к плечу, голова к голове. Лишь с одной стороны утеса — с восточной — зиял прорыв среди них, — там, где в клубах тумана чернела мрачной глубиной жуткая долина — без единого деревца, кустика и травинки. Но жуткая долина отшельнику, поселившемуся над ней в двух пещерках, кроме святого удовольствия, ничего не доставляла, внося в стройное однообразие лесных великанов прелесть диссонанса и настраивая видом своим бранные мысли человека на душеспасительный лад.

По вечерам, когда знойное светило, за долгий дневной путь отяжелев, в изнеможении опускалось на изломанный горными кряжами горизонт, в долине воцарялся мрак, ползли туманы, извергаемые болотистой почвой, и в туманах, во мраке чудились дякону искаженные мукой души грешников, осужденных страшным проклятием.

А утром, когда солнце, приняв где-то под землей прохладную ванну, умытое и веселое, поднималось с востока, туманы воспаряли кверху, клубились в серебристых отливах, безмолвно радостным утесом катились к утесу, к подножию пещерок, к ногам отшельника и разливались бесконечным морем, покрывая леса, окрестные пики, все, все серебряной пеной и пушистыми барашками. Вечерами долина напоминала дякону о неминуемой каре, по утрам — о неизбежном прощении...

Общее же впечатление от жуткой долины, от исполина утеса, от хмурой рати лесных великанов, от обилия вкусной дичи, от уютных пещерок, — от всей обетованной пустыни, торчком подпиравшей небо, — общее впечатление было таково, что не спасется здесь разве только набитый дурак...

— Ну-ка, Василий, ну-ка! — поощрял себя дьякон, подмигивая в голубую высь. — Ну-ка, друже, возьми старого за сердце... Сядь одесную, ну, хоть Илии- пророка...

Изредка лишь омрачалось его настроение — ввиду гнусной прожорливости «ковриков», увязавшихся вслед за ним вплоть до «обетованной пустыни» и поселившихся здесь, по-видимому, навсегда. Дьякон принужден был два раза на день стрелять для них кабанов, зайцев, фазанов, ворон, уток и голубей и все же никогда не мог заткнуть им голосистых глоток, с утра и до утра тянувших одну бесконечную ноту из мотива зауспокойных рыданий.

— Экие стервецы, ну-ка... — говорил он сокрушенно, прислушиваясь к назойливой музыке. — Ведь вот нажил себе нахлебничков... Полные паразиты: жрут и воют, воют и жрут, только и дела. И хоть бы-те поправились... Представьте: ничего подобного...

Они будили его с зарей, плотным полукрутом обступая пещерку и выпуская хором и по очереди дикие гнусавые звуки... Дьякон просыпался, выходил, хозяйским оком окидывал лысые шкурки и костлявые тела и вздыхал, вздыхал:

— Не удастся мне никогда дать им приличного вида... Стреляю, стреляю словно-те в бездонную бочку и... никаких следов...

В конце концов, питание прожорливых нахлебников стало для него своего рода спортом, и если вначале оно причиняло ему неприятности, отрывая от молитв и покаяний, а главным образом от святого ничегонеделания, то с течением времени, когда в его голову клином засела мысль о неизбежности спасения, к делу насыщения ненасытных ковриков он стал относиться, как к испытанию, данному ему свыше — из соображений премудрого порядка.

— Спасусь, спасусь... — повторял он в последние дни особенно убежденно, замечая, что если его неблагодарные питомцы и не подадут надежд на пополнение, то все же теперь значительно меньше надрываются по утрам.

И вот, когда его убежденность перешла в уверенность, а уверенность в лихорадочное ожидание неизбежного, —

неизбежное пришло... Впрочем, совсем иного сорта, чем то, которого он ожидал.

За добрый присест скушав в один прекрасный полдень жареного на вертеле фазана и покрыв его сверху килограммом душистой горной земляники, дьякон, по обыкновению, исстари заведенному — от времени святого лодыря Полувия, — расположился «на часок» под тенью сооруженного им навеса перед пещеркой для бдений. Его неугомонные мучители в этот жаркий полдень почему-то утомнились, скрываясь, очевидно, от палящего солнца в тенистом хвойном лесу. Препятствий к послеобеденному отдыху, таким образом, не существовало, и дьякон умело воспользовался отсутствием их.

Нельзя сказать, чтобы он заснул — для этого не хватало достаточной прохлады, но он и не бодрствовал; грезы в виде «прекрасного сада на востоке» реяли перед его внутренним оком. То были соблазнительные грезы, навеянные святостью его жизни и постоянными ночными и дневными бдениями за кружкой виноградного вина собственной выделки.

...Сама пречистая богоматерь встречала его у ворот райской обители, куда он вознесся на винных парах, а грозный страж ее — апостол Петр-камень, дзинкая подвешенными к поясу ключами, смиренно и с полным благожелательством улыбался, открывая перед ним райские врата. Дьякон был несколько смущен тем, что столь высоковажные особы проявляют к нему такое внимание. Он не знал, какими словами приветствовать ему Петра, а главное, девственную богоматерь. Как вдруг подле него раздались легкие шаги... Шаги не во сне, а наяву... Все-таки, в первые мгновения, он принял их за приближение нового райского лица, которое должно было облегчить его положение смущающегося новичка; но жестокая действительность, когда глаза его полуоткрылись, показала ему, что он катастрофически ошибался...

То был умерший англичанин, со всеми предосторожностями подбиравшийся к месту дьяконского отдохновения. Теперь он нисколько не походил на хладный полу-

истлевший труп и зловония могилы от него не исходило; наоборот, жутко блиставший револьвер демонстративно трактовал о его принадлежности к миру грубо чувственной материи...

Вскочил ли дьякон, или не вскочил, до полусмерти напуганный неожиданным явлением, — извините, этого он не помнит. Только когда последние обрывки сладких грез расплылись без остатка перед реальностью факта, он почувствовал, что его крепко держат за ворот, а в висок тыкают холодным дулом револьвера.

— Где палочка? — не повышая голоса и без злопамятности молвил бесстрастный англичанин. — Где палочка? Скорее, или — пуля...

— Па-па-па-па... — залопотал вспотевший дьякон, даже не понимая, о какой палочке может идти речь. — В... в... в... Ой-Ой-О...

— Па-лоч-ка де-трю-ит-на-я!.. — Для большей ясности англичанин расчленил слова на слоги.

— Де-де-де-де... — В этот момент дьякона сильно тряхнули за шиворот — небольшое сотрясение всегда оказывает благотворное воздействие на упорядочение мыслей — и он, сам не ожидая от себя такой отчаянности, вдруг треснул отвратительного иностранца кулаком под ложечку. Конечно, проще и целесообразней было бы пустить в ход смертоносную палочку, по обыкновению ютящуюся в правом рукаве его одежды, но разве мыслимо сообразить обо всем сразу?

Прежде чем согнуться в три погибели, англичанин выстрелил. Пуля пронзила дьякону правое ухо и, рикошетирав от скалы, засела у него же в мягких частях туловища. Только поэтому вместо того, чтобы схватиться за палочку, дьякон схватился одной рукой за ухо, другой — за сидище... Англичанин выпрямился, как хорошая пружина, и, хотя позеленел от удара, снова приставил к чужому виску свой револьвер...

— П-па...алочка... — прерывисто выдавил он. — С-сме... ерть...



Тогда дьякон двинул руками, намереваясь познакомить надоедливго гостя с некоторыми свойствами интересующей его палочки. Но гость, приняв это движение за подготовку к новому удару в подложечную область — область весьма чувствительную к грубым прикосновениям, — хрипло сказал «раз-два» и применил хорошо знакомый дьякону прием японской борьбы — парализующей джиу-джитцы; картина вышла старая: у дьякона плетью повисли обе руки.

— Дьявол! Дьявол! — проревел он, желая забодать англичанина головой. Но тот предусмотрительно отпрыгнул в сторону. Для полноты восстановления старой картины не хватало лишь, чтобы он произнес насмешливо:

— Тэ-тэ-тэ-тэ... Вы не знакомы с джиу-джитцей?.. Каждому политическому деятелю необходимо знать джиу-джитцу...

Он этого не произнес, потому что для такой длинной фразы недостаточно отдышался, но опять крикнул — уже не бесстрастно:

— Где палочка, ну?..

Дьякон, трясаясь всем телом, тем не менее молчал.

— Где палочка?.. — повторил настойчивый гость и, приблизившись вплотную, заговорил менее лаконично:

— Стоять смирно. Застрелю за одно движение... Обыщу...

Черный кружок дула повис перед глазами дьякона на расстоянии двух сантиметров... Проворная рука забежала по его одежде...

Когда англичанин наткнулся на предмет своих вождений, дьякон дернулся и затрепетал, кружок уперся вплотную, а жесткий голос отчеканил:

— Смерть... Смирно...

Осторожно отвязав ее от плеча, он сказал уже менее чеканно, зато более насмешливо:

— Не трогаться с места, пока я не скроюсь вон за тем деревом... Тэ-тэ-тэ... Какой вы дурак, Ипостасин... До свидания... Привет от брата...

И захохотав, словно заколовив деревянной колотушкой по чугунной доске, он отошел неторопливо...

Дьякон не стал дожидаться, когда язвительный вор скроется за деревьями, но и не осмелился нарушить его приказания. У него существовала третья возможность. Застыв изваянием, он сначала тихо, потом громче и громче, призывно закликал:

— Коврики! Коврики! Коврики! Коврики!..

Потом легонько свистнул три раза подряд, — совсем так, как свистал, обыкновенно, созывая прожорливую шакалью стаю к кровавой трапезе.

Англичанин обернулся, но убедившись, что дьякон по-прежнему стоит неподвижно, продолжал путь. Ему показалось, что глупый русский призывал на помощь кого-то из бесчисленных своих русских богов.

— Коврики, коврики, коврики, коврики... — продолжал тоненько взывать дьякон.

И «коврики» появились...

Рассыпным строем вынырнули они из-под густой кровли, слышав многообещающий призыв. Но к ним навстречу храбро шагал незнакомый человек с холодными глазами — они попятились.

— Коврики, фью, фью!.. — крикнул им знакомый голос — так, как он обычно кричал, разрешая голодной братии догнать подстреленную дичь.

Шакалы из-под кустов недоуменно следили за направлением пальца своего хозяина.

— Фью, фью его!.. — снова приказал этот палец.

Тогда вся стая, захлебываясь в диких зловещих рыданиях от превкушения горячей крови и обильной трапезы, со всех сторон накинулась на крупную дичь... Облепила ее, как рой взбешенных ос...

Англичанин слишком презирал эту орду стервятников, чтобы вовремя принять против них какие-либо меры. Его падение было падением вследствие человеческого самомнения... Палочкой он успел только двух шакалов отправить к праотцам, чтобы вслед за ними и самому немедленно отправиться туда же...

Когда дьякону показалось, что враг его достаточно обезврежен, он с дубинкой в руках бросился разгонять остер-

венешую стаю. При его приближении она моментально разбежалась, зная, что человек, кормилец их, шутить не любит.

В кровавых остатках похитителя лежала скромная палочка с свинцовой головкой...

— Эх, мистер, мистер!.. — скорбно и сожалея воскликнул дьякон. — Не я ли предупреждал тебя? Не я ли?.. Эх-эх, смотри, что ты с собой сделал?.. Ну, коврики, доедайте, что ли... Чтобы у меня здесь чисто было, ну-ка...

Сделав последние распоряжения, он уединился в пещерку для бдений и скорбь своей души, жалость «по убиенному» стал гасить прокисшим от зноя виноградным соком.

Только день выдался комковатым до конца.

Налившись хмельными соками до краев, дьякон уже собирался — всерьез и надолго — воспарить к превышнему в торжественных песнопениях, как вдруг «коврики» взвыли неистово подле самых дверей его кельи. Оборвав подготовку к воспарению, он прислушался: в шакальем вое, вообще обычном, ему почудились нотки предвкушения новой крупной дичи, почему-либо недостижимой для острых клыков. Дьякон схватил палочку. «Может, кабана убью», — подумал он и на карачках, ибо подготовка для сближения с богом оказалась весьма изнурительной для брэнного организма человека, выполз на солнце.

Глубоко внизу по сырой каменистой почве ползали две букашки. Они что-то искали, так как переходили с места на место и, кажется, долбили камень киркой. Расстояние не позволяло определить ни их пола, ни возраста, ни, тем более, индивидуальных различий. Одно оставалось несомненным, что это были люди.

— Что им здесь нужно? — В душе дьякона поднялось негодование: и утес, и лес, и долину он давно привык считать своей собственностью. — Я это должен расследовать досконально...

Он прополз к тому месту обрыва, от которого тянулся вниз саженей на тридцать — до зелени площадки с кустиками душистой земляники — рассыпчатый известняковый откос. Дьякон не раз спускался к этой площадке за вкус-

ным десертом и спускался, обыкновенно, как на санках, скользя на своих собственных седалищах. На этот раз, однако, в силу его неустойчивости, на седалища ему не удалось перевернуться, и он проехал весь путь вплоть до намеченного пункта на груди и на брюхе.

С площадки, увлеченные дьяконским телом, сорвались несколько камешков, и они с шумом посыпались вниз к ногам неизвестных людей. Люди подняли головы, а дьякон опустил свою, боясь преждевременно выдать себя. До его слуха долетели голоса, резонируемые узким ущельем:

— Что за черт! — воскликнул голос с металлической акцентуацией. — Кажется, в этой таинственной местности камни движутся сами по себе...

— Слыхали, как шакалы выли? — сказал другой, грубый и мрачный голос. — Наверное, они подползают к нам, вот камни и сыпятся...

— Ну-ну... — оставаясь при особом мнении, произнес первый голос, а затем спросил: — Как ваши поиски?..

— Он здесь должен быть, вне всякого сомнения, — отвечал грубый голос.

Дьякон поднял голову и, похолодев, узнал в нем Митьку Вострова. Владелец же голоса, акцентуированного металлом, продолжал быть ему неизвестным.

Роковое сходство угреватого Аполлона с своим двойником Востровым и его уверенный ответ о чем-то искомом обоим авантюристам (а это были они) стоили жизни.

У пещерного жителя весь заряд хмеля сразу нейтрализовался смертельным испугом, как только он сообразил, кого они ищут. Правда, здесь тоже была ошибка: авантюристы искали детрюит, а не похитителя детрюитной палочки; но он не позволил себе упускать драгоценного времени и, в решимости отчаяния подняв трясущуюся руку, пустил в долину свистящий луч... Мгновенно оборвались голоса и прекратились поиски...

Похититель детрюита во второй раз за время своей небольшой детрюитной жизни горько и безутешно рыдал, уткнув лицо в яркую зелень и носом расплющив две красные ягоды...

Но день был длинен, и комковатость его еще не была исчерпана.

Солнце высушило на лице дьякона размазанные слезы, а на носу — расплющенные ягоды, и он поднялся на ноги, чтобы в келье своей найти себе утешение. Он не хотел бросать взгляда в жуткую долину и все-таки бросил, ибо оттуда исходил манящий гипноз смерти. Два трупа лежали в запекшихся лужах крови, и к ним уже подбирались блудливые шакалы. Дьякон закричал, свистнул угрожающе: ведь один из трупов принадлежал его закадычному другу или, во всяком случае, симпатичнейшему квартиранту, который, не щадя языка и не чувствуя усталости, поучал его не один раз о самых разнообразных предметах из разнообразнейших наук... Дьякон не хотел быть неблагодарным и поэтому камнями разогнал ненасытных «ковриков». Потом он кинул опечаленный взор в конец долины. Нечаянно кинул... и вдруг брякнулся наземь, недоуменно хлопая остеклившимися глазами...

Два всадника маячили в конце долины, жестикулировали с оживлением и показывали руками в направлении места драмы.

— Кто это? Зачем это? — шевелил дьякон потрескавшимися от внутреннего и от внешнего жара губами. — Что им надо?.. Зачем они сюда лезут?.. Почему они мешают мне спастись?.. Я их не знаю, пускай и меня не трогают... Я не хочу крови... Я плаваю в крови... Довольно крови. Довольно...

Всадники, словно смущенные взглядом остеклевившихся глаз, вдруг остановились. Слезли с лошадей.

— Уходите, уходите... — шептал иступленно дьякон. — Вы не должны видеть трупов... Я не хочу, не хочу... Иначе плохо, плохо вам будет... Уходите...

В первые минуты он думал, что его страстная мольба дошла до ушей неизвестных. Но нет, они только отвели лошадей к краю долины, а сами снова продолжали путь.

Опять дьякон принужден был спрятать голову в траву, чтобы не обнаружить себя раньше времени, и довольство-

ваться одними голосами, доходившими до него в громких раскатах эха.

— Хо-хо... — смеялся один голос. — Наконец-то мы попали в «Долину Смерти»... Невзрачная она, нужно отдать ей справедливость...

Невидимому слухачу этот голос показался удивительно знакомым, но у него не было времени для воспоминаний, потому что сейчас же прозвучал второй голос, от которого волосы дьякона зашевелились.

— «Долина Смерти», — привычным лекторским тоном сказал этот голос, — вполне оправдывает свое название. Ее недра скрывают...

Дьякон выглянул из-под прикрытия... сначала он увидел рабфаковца Безменова, знакомого ему по соседнему двору на Никитской, потом... потом глянула веселая рожа погибшего под детрюитным лучом Митьки Вострова...

— Смотри!.. — с ужасом в голосе крикнул Безменов, заметив трупы. — Опять... Опять... — и он вдруг резко перевернулся и перевернул Вострова спиной к бледному, как снег, лицу дьякона, бросившемуся ему в глаза. — Надевай капюшон...

И Митька и рабфаковец с сумасшедшей быстротой надернули на головы капюшоны, болтавшиеся у них за спинами... А дьякон в решимости отчаяния поднял трясущуюся руку и в «Долину Смерти» пустил свистящий луч.

— Стой! Стой! Не оборачивайся!.. — кричал Безменов, удерживая своего друга. — Смотри...

Вокруг них плясал детрюитный луч, выжигая борозды в каменной почве, но он был бессилен причинить им даже царапину; их тела скрывались за плюмбированной одеждой — одеждой, пропитанной свинцовыми солями, — кроме лица, открытого, но отвращенного от дьякона в другую сторону.

Луч поплясал еще некоторое время. Потом дикий крик бешенства, отчаяния, ужаса упал сверху. За криком в спину Вострова ударилась детрюитная палочка, Митька ее немедленно подобрал...

....Наверху, по сыпучему откосу, карабкался, срываясь и падая, обезумевший дьякон, внизу, около двух трупов, нелепо выкидывая ноги, толстый человек отплясывал дикий танец...

Оставив рассудок на зеленой площадке, дьякон домчался, наконец, до своих пещерок. Оглянувшись, он увидел, что мертвый Митька, бессмертный Митька, двойной Митька в сопровождении своего приятеля, может быть, тоже выходца с того света, карабкался вслед за ним, крича что-то и махая руками. Что он хотел уволочить его к черту на кулички, сомнений быть не могло... Дьякон с выскочившими на лоб глазами уперся грудью в громадный камень, напрягся так, что в ушах загудело, а в животе оборвалось, и столкнул его вниз. Камень, круша все на своем пути и прыгая по скалам, как резиновый мяч, промчался в двух шагах от приятелей... А дьякон рухнул, надорвавшись в нечеловеческом усилии, на место сброшенного им камня... Шакалы, по обыкновению голодные и злые за то, что их прогнали от свежего мяса из долины, сомкнули вокруг него злобный круг...

Друзья продолжали карабкаться по крутому откосу — шакалы сужали круг. Друзья уже были на краю обрыва, на расстоянии трех саженей — шакалы, захлебываясь рыданиями, вцепились в дьяконские ноги... Друзья выскочили из обрыва — дьякон лежал бездыханным с изорванными конечностями и лицом. Прожорливая стая «настаськиных ковриков» отомстила за дисциплину, в которую их поверг дьякон, за его надменное обращение, за шутки, за смех, за прозвище, за все, за все...

— Поздно, — сказал Дмитрий Востров, выслушав дьяконское сердце. — Поздно. Жил дураком, умер дураком... Неужели он думал, что я ему буду мстить...

Слушая скорбные слова друга, Безменов нечаянно кинул взгляд к опушке леса и увидел там свежий человеческий скелет.

— Смотри, — сказал он. — Долина-то эта, действительно, «Долина Смерти». Сколько смертей зараз...

Не слушая его, Митька бормотал свое:

— Жил дураком, умер дураком... Бедный, бедный дьякон... Ну кто бы мог знать, что мы встретим его здесь...

— Я знал, — твердо сказал рабфаковец, извлекая из кармана кусок белой материи с сухими пятнами крови.— Смотри: чьи инициалы?..

«В. В. И.»

— Василий Васильевич Ипостасин, — прочитал Митька по заглавным буквам. — Откуда это у тебя?..

— Из подземного хода под Сухумом... Помнишь гору трупов, рассеченных на куски?.. Ты сам же тогда сказал, что это работа дьякона. Я произвел расследование: по следам, по остаткам оборванного платья я тогда еще вырешил, что дьякон жив, что он оделся здесь в чужое платье, — и даже больше, — что он бежал в горы. О последнем говорили мне его следы в разных местах по дороге нашего следования...

— Так это тот твой сюрприз, о котором ты не хотел ничего говорить?

— Совершенно верно.

— Но почему ты до сих пор молчал? — возмутился Митька.

— Потому что ты страдаешь... ну, как бы это сказать?.. чрезмерной осторожностью, что ли... Я боялся твоей забастовки и отказа от дальнейшего путешествия...

Митька смущенно засвистал, а рабфаковец вдруг обернулся с озабоченной миной...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

...Рабфаковец вдруг обернулся, кого-то отыскивая взглядом.

— Автор! Автор!.. Гончаров!.. — закричал он.

— Ну-ну... — добродушно проронил я, выглядывая из-под ближайшего камня с карандашом и блокнотом в руке. — Не кричи. Не глухой. Слышу. Чего орешь?..

— Как «чего»?! Что дальше делать?.. Детрюитная палочка — вот она, руда у него, четыре человека обращены в прах... Ну?..

— Положим, не четыре, а только три... — поправил его истерзанный дьякон, стирая с голых ног, лица и рук киноварную краску, поднимаясь, как ни в чем не бывало, и присоединяясь к Безменову с Востровым. — Щиплетса эта краска дьявольски, — добавил он, почесывая руки и ноги, — больше я не согласен на такую роль... Да и шакалы эти, черт бы их побрал, того гляди и в самом деле сожрут тебя со всеми потрохами... Не согласен... Пусть вот он — Ванька — в следующий раз водится с шакалами. Он храбрый... А я что-нибудь другое...

— Товарищи! Товарищи!.. — вскричал я, нацело вылезая из-под своего прикрытия. — Вы мне портите весь финал... Кто вам сказал, что роман закончен?.. Что вы делаете?.. По местам, по местам, прошу вас...

— Ишь, автор-то разошелся! — не без ехидства молвил Сидорин, вместе с Аполлоном прекрасным поднимаясь из «Долины Смерти».

— Да что ж это такое?! — схватился я за голову в полном отчаянии. — Недостает еще, чтобы и англичанин препожаловал сюда...

— А почему бы и нет?.. — раздался вдруг сзади меня бесстрастный голос мистера Уэсса. — А почему бы и нет?.. Тэ-тэ-тэ... Разве я плохо играл свою роль? Разве не меня растерзали «настаськины коврики»? Разве я не подвергался смертельной опасности?..

— По местам, товарищи! По местам!.. — попытался я в последний раз спасти свой финал. — Скройтесь с глаз моих и читателя! Дайте Безменову и Вострову сыграть заключительную сцену...

— Это меня возмущает!.. — с соответствующими интонациями голоса воскликнул Митька Востров, распуская глаза один на нас, другой в Арзамас. — Это меня возму-

щайть!.. Люди собрались, чтобы побеседовать, а он со своим романом суется... Успеешь. Кончишь. Дай передохнуть. И так все жилы вымотал. Попробуй-ка сам в такую жарницу лазить по горам с сумкой за плечами да еще читать лекции на всевозможные темы. Это тебе не под камнем сидеть да чирикать карандашом...

Его двойник (родной брат, между прочим), в сущности игравший уж не такую-то значительную роль, тоже присоединил негодующий голос к общему возмущению.

Финал был испорчен более чем определенно.

Все же я попытался еще раз спасти положение.

— Безменов!.. — умоляюще возгласил я. — Безменов, будь благоразумен. Ты ведь, можно сказать, центральное лицо романа (как видите, я пустился на лесть: у меня несколько центральных лиц)... Будь добр, сделай вид, что ты не замечаешь всей этой бунтарской компании. Произнеси свой последний монолог, тогда что хотите, то и делайте...

— Что произнести-то? — с широкой улыбкой обратился ко мне рабфаковец. — Ведь почему я тебя вызвал? Лазая по этим чертовым колючкам, я потерял последний лист из спи-санной роли... Что произнести-то?..

— Вот молодец! — обрадовался я благоразумию рабфаковца и торопливо заговорил: — Скажи, мол, что цель достигнута, детрюит найден, детрюит в руках государства и что теперь, мол, нам не страшны никакие капиталистические окружения и бандитские интервенции, что теперь с детрюитом в руках мы живо вызовем Мировую Социальную...

— Ерунда!.. — неожиданно брякнул рабфаковец. — Ерунда! — повторил он, энергично слезывая. — Мы и без твоего детрюита не сегодня-завтра будем иметь мировую революцию... Детрюит не может ни остановить, ни вызвать ее наступления... Законы исторической необходимости таковы, что они не подвержены влиянию со стороны случайных моментов... Я — марксист и, поэтому, с твоим финалом не согласен. Придумай что-нибудь другое...

Зная непоколебимость стального рабфаковца, я и не подумал возражать...

Но ведь выход-то нужно было найти? Нужно же как-нибудь закончить роман?..

— Нужно или нет?.. Черт вас подери!.. — в припадке черной меланхолии заголосил я, обращаясь ко всем и ни к кому в частности.

— Ищи сам... — пробурчали братья-близнецы, дружно кося двумя парами глаз.

— На то ты и автор, ну-ка... — резонно заметил псевдодьякон. А неисправимый гипнотизер Сидорин загвоздил:

— Вы его сейчас найдете. Вы его нашли. Нашли, да? Да?..

— Тэ-тэ-тэ-тэ... — протянул озабоченно мистер Уэсс, доставая часы. — Я вижу, дело грозит затянуться надолго... Я сейчас должен лететь. Лететь в Лондон: на съезд компартии Англии... Мне осталось ровно три минуты... Да, кстати, гражданин автор? Вы мне дали гнусную роль, я ее сыграл, смею думать, удовлетворительно, но я требую реабилитации... — и, не дожидаясь моего ответа, он сел на гоночный самолет и умчался по дороге в Лондон, делая по 500 километров в час.

— Дол-лой авторов!.. — неожиданно рявкнул над самым моим ухом Ванька Безменов.

Шшшшакал его заешь! Я и не знал, что у него вместо голоса — иерихонская труба... Знай это ранее, я заставил бы его перекликаться с Митькой через десятки верст...

— В чем дело? Почему шум?.. Почему Безменов ревет?.. — раздался вдруг новый голос.

Обернувшись, я со смущением улицезрел Начсоча ГПУ товарища Васильева.

— Почему такой шум? — снова спросил он и грустно добавил:

— Только что собирался уснуть, не тут-то было: слышу, Безменов ревет...

— Их-хи-хи-хи... Их-хи-хи-хи... — Еще одно явление!

Смешливая дьяконица Настасья препожаловала неведомыми путями и сразу подкатилась горошком к обоим братьям-близнецам.

— Ну, уж теперь конец, — сокрушенно сообразил я. — Скомкан финал, пропал роман, пропала моя авторская головушка...

— Эх, авторище, не горюй! — хлопнула меня вдруг по плечу чья-то легкая рука. — Не горюй, автор. Это я говорю — рабфаковка Синицына... Сюда смотри...

Еще одно явление!

— Да откуда вы сыплетесь на мою голову?..

— Не горюй, говорю тебе... — продолжала рабфаковка. — Я тебе дам выход, но за это ты должен обещать мне, что в следующем своем романе ты предоставишь женщине более широкое поле деятельности...

— Дор-рогу женщине с ребенком!.. — снова проревел раздурчившийся рабфаковец.

— Ну, знаете, товарищи, мне некогда... — устало проронил Васильев и исчез в скалах, привычным глазом предвзрительно выследя толстый зад грузинского меньшевика.

— Ну-ну, где твой выход... — безнадежно согласился я.

— Вот!.. — вдохновенно выпалила рабфаковка для начала и стала в позу.

Все с интересом сгрудились вокруг нее, а близнецы- братья так перепутались, что я уже потерял надежду отличить: который из них Востров, который — Аполлон прекрасный.

— Ты должен предоставить каждому герою романа возможность самодеятельности, — зачеканила рабфаковка. — Пусть герои сами, согласно своей идеологии и понятиям, придумывают финальную сцену... Это будет оригинально. У твоего романа будет несколько заключительных глав, ну, скажем, три... потому что нет нужды каждому из нас придумывать эту главу: мы будем повторяться... Пусть дьякон, как герой весьма оригинальный...

— Согласен, — сказал дьякон и умильно поклонился; но было так тесно, что он лбом стукнулся о затылок Сидорина, а задом поддал Митьку Вострова.

— ...Пусть дьякон самостоятельно или вместе с Настасьей придумает конец. Сидорин, Аполлон и англичанин, если сей прибудет, тоже совместно... Безменов, я и Востров —

тоже совместно. Получится три заключительных главы и ты, автор, спишешь их прямо с натуры.

— Согласен, — сказал я, расцветая внутренностями и лицом, и снова повторил: — Согласен, но с условием...

— С каким еще условием?! — вскрикивали все герои, которым проект Синецкой пришлось по вкусу безусловно.

— С условием, — стойко продолжал я, — что, во-первых, вы не будете изменять моей предыдущей главы и, во-вторых...

— Объяснитесь, ну-ка?.. — попросил дьякон, не отличавшийся, как известно, феноменальной сообразительностью.

— Чего ж тут объяснять? — возразил я и приступил к объяснению: — У меня в последней главе, XXI по счету, дьякон умер с натуры и истерзан шакалами, от англичанина остался один скелет, Сидорин и Аполлон лежат в «Долине» полуразложившимися...

— Извините, мы не разлагались, — поправили меня оба «авантюриста», — мы еще не успели разложиться...

— Ну хорошо, — согласился я, — не разложились, так, во всяком случае, тоже умерли... И вот я ставлю условием, чтобы заключительная глава...

— ... заключительные главы... — вставила рабфакровка.

— Нет, «заключительная глава», — не сдался я. — Чтобы заключительная глава вытекала из моей, как естественное ее продолжение...

Представьте себе: никто и не вздумал протестовать... Все очень поспешно согласилось, переглядываясь между собой хитро и двусмысленно. Тогда я заподозрил неладное.

— Позвольте, — сказал я, — одно замечание: чтобы никаких чудес, никакой чертовщины, никакого вмешательства сверхъестественной, божественной и иной нечистой силы... Чтобы все было начистоту — без небесных фокусов...

...И опять они согласились, продолжая подмигивать друг другу и на мой счет отпуская двусмысленные улыбочки.

— По местам!.. — рявкнул Безменов и растолкал всю группу.

— Позвольте, — еще раз попросил я, и все остановились. — Я ведь не сказал еще своего «во-вторых»...

— Что это еще за диктатура? — заворчала компания. — Авторская диктатура!?

— Да, авторская диктатура, — спокойно подтвердил я. — На три главы я не согласен. Довольно с вас и одной...

Лица вытянулись. Лишь Сидорин с Аполлоном стали на мою сторону.

— Правильно, — сказали они в один голос, — должна быть одна заключительная глава...

А потом загвоздил один Сидорин:

— Будет одна глава. Одна глава. Понимаете?.. Повторите — «одна глава».

— О-одна-а гла-ава-а... — хором повторила вмиг загипнотизированная компания.

— И эту главу даст дьякон, — вставил я, а Сидорин подхватил:

— ... даст дьякон... Повторите: «даст дьякон»...

— Да-аст дьяко-он... — как эхо, прозвучало в знойном воздухе.

— Потому что, — снова перебил я его, находя, что бунтари достаточно загипнотизированы, — потому что, если дать три главы, получится скучная канитель... будут повторения и ничего оригинального. Дьякон же, как центральное лицо романа (я немного польстил ему: у меня несколько центральных лиц), должен дать эту главу и дать оригинально...

— Согласен, — сказал дьякон и умильно поклонился, но на этот раз ни задом, ни передом не зацепил никого.

— Правильное дело!.. — возгласили вместе Сидорин и Аполлон.

Но компания опять заворчала.

Я-то понимал, почему «авантюристы» стали на мою сторону: их положение было весьма щекотливо. Ну какой бы финал они могли дать при своей роли «контриков»?..

— Вы согласны? — снова вмешался Сидорин. — Вы согласны. Повторите.

— «Вы согласны...» — эхом отозвалась компания.

— Не вы, а мы... — поправил Сидорин. — Не вы, а мы. Повторите.

— «Не вы, а мы...» — повторила компания.

Сидорин плюнул и отошел в сторону.

— По местам!.. — снова проревел Безменов и растолкал всю группу.

Дьякон моментально повалился на камни и снова замазал себе киноварью лицо, руки и ноги. Сидорин и Аполлон загремели в «Долину». Откуда-то примчался англичанин и, обнажившись до костей, распластался у опушки леса. Безменов и Востров — один с детрьюитной рудой на спине, другой с палочкой в руках — стали в неподвижные позы около полуистерзанного дьякона. Вся остальная недеятельствующая братия, как-то: Синицына, Настасья и я, — укрылась за ближайшим камнем.

— Начинай, дьякон!.. — крикнул я, вооружаясь карандашом и блокнотом.

Дьякон приподнял изгрызанное лицо и что-то шепнул «искателям детрьюита». Те поспорили, но согласились.

— Вы должны уйти со сцены... — донеслось до меня дьяконское. — Останусь я один и тогда...

— Ну-ну... — нетерпеливо крикнул я.

— На-ачинаем... — хором отвечали трое, и мой карандаш забегал по бумаге.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Дьяконская

...Безменов обернулся, кого-то или что-то отыскивая взглядом.

— Здесь дьявольское пекло, — сказал он, — удивляюсь вкусам дьякона.. Пойдем, что ль, в пещеру. Там все-таки не так жарит...

Востров давно хотел предложить подобное же, изнывая под тяжестью детрюита, но его удерживала одна мысль, привести в исполнение которую он не решался.

— Слушай, — сказал он нерешительно и немного смутясь. — Все-таки с дьяконом я прожил шесть лет под одной крышей... Какой бы он ни был паршивец, неудобно все же оставлять его на съедение шакалам: ведь они всякую падаль лопают...

— Ладно, — согласился Безменов, учтя благородные чувства друга. — Но куда же мы его денем?..

— Здесь две пещеры, — живо заговорил Востров, — мы его положим в одну и завалим камнями...

Друзья перенесли бранные останки дьякона в одну из пещер и, заложив ее камнями, сделали на внешней стене короткую надпись:

«Здесь покоятся мощи авантюро-диакона Ипостасина Василия, иже на сороковом году своей жизни, в лето от нашей эры VI, скончался в бозе и в Абхазии и так далее».

Потом они укрылись в соседней пещерке.

— Сколько жизней унесла эта штучка, — задумчиво произнес рабфаковец, разглядывая смертоносную палочку, за которой он гонялся, ни разу ее не видя.

— Да, братец ты мой, — горделиво отозвался Митька и скромно добавил: — Из-за этой штучки я чуть с ума не сошел...

Рабфаковец глянул на него с участием, и Митька потушил глаза... Потом поднял их и с живостью произнес:

— Хочешь, я тебе покажу ее действие?..

Он взял палочку и направил ее свинцовой головкой в отверстие пещеры.

— Смотри, вон шакал землю роет...

Действительно, один из шакалов, которых дьякон приучил к чистоплотности, старательно закапывал что-то под кустом бузины.

— Ну, смотри...

Митька спустил рычажок, и...

...Шакал продолжал, как ни в чем не бывало, заниматься санитарией...

— Ну, и что же? — спросил рабфаковец, чувствуя неладное.

— Подожди... Что-то — не тово... — откликнулся побледневший изобретатель.

Он тщательно осмотрел палочку, подвинтил, подкрутил рычажок, головку и повторил эксперимент.

...Шакал бросил последнюю горсть земли на выросший холм и, с сознанием исполненного долга, подняв хвост, удалился...

Востров направил отверстие свинцовой головки себе на ладонь: кожа почувствовала только легкое жжение, как от зажигательного стекла.

— Детрюит израсходовался! — хрипло крикнул изобретатель и растянулся в обмороке на полу пещеры.

Часа два провозился Безменов с бесчувственным телом друга, применяя все 33 известные ему средства оживления — вплоть до щекотания пяток — и, лишь когда средства были исчерпаны нацело, Митька самостоятельно пришел в себя.

— Где я? — спросил он по шаблону и, не дожидаясь объяснений, бросился к детрюитной руде, потом к своей сумке...

Из сумки посыпались на пол тигеля, колбы, реторты, щипцы — простые, со стеклянными ножками, со стеклянными ручками, стеклянные палочки, горелки — керосиновые, бензиновые, ацетиленовые, и прочие принадлежности походной химической лаборатории.

— Что ты хочешь делать? — Безменов испугался за целостность его рассудка.

— Сейчас же испытаю руду и... и сделаю новую палочку...

Остаток дня и следующий день до полудня прошли в отчаянной суетне, от которой особенно досталось рабфаковцу. Изобретатель заставлял его раздувать горн с импровизированными из собственных кожаных штанов мехами, носить из «Долины» каменный уголь, доставать воду, заботиться о достаточном притоке свежего воздуха — для чего требовалось стоять у входа и изображать из себя ветряную мельницу, — подавать и принимать нужные и ненужные

изобретателю аппараты и инструменты, наконец, вытирать у него лицо, с которого непрерывной струей лился пот, и кормить его во время работы, подавая пищу прямо в рот... Все это безропотно сносил рабфаковец, видя ненормальную возбужденность своего друга.

Наконец, настал решительный момент. Изобретатель вылил в свинцовую головку выплавленный из руды в количестве одного дециграмма детрюит и трепетно ждал, когда он остынет. Этот трепет мало-помалу индуцировался и на рабфаковца.

Прошло с четверть часа. Изобретатель сидел и дрожал, не решаясь проверить своей работы.

— Ну же, ну! — ободрял его рабфаковец.

— Я боюсь, — хрипло вымолвил Востров.

— Черта ли там бояться?! — Безменов решительно встал и подошел к каменной глыбе, служившей им лабораторным столом.

— Подожди, подожди, я отвернусь! — прохрипел изобретатель, действительно, поворачиваясь лицом к стенке.

— Что нужно сделать? — твердо спросил рабфаковец.

Востров, дрожа всем телом и не отворачиваясь от стены, сказал:

— Возьми свинцовый шарик в руку и пальцем сдвинь с него крышечку... Направь на что-нибудь, хотя бы на дерево...

Прежде чем исполнить это, Безменов решил на всякий случай подготовить друга. Он сел с ним рядом на полу и спросил:

— Если шарик не даст никаких результатов, что это значит?

— Это значит, что мой детрюит — сволочь, а не детрюит! — прохрипел изобретатель. — Это значит, что он не подобен радио, который, как известно, сохраняет свою активность в течение 5000 лет. Это значит, что здешние руды перестали быть активными, походя по своей неустойчивости на малоактивные торий, полоний и эманацию радия... И это значит, что я снова сойду с ума...

— Вот что, друг, — решительно сказал Безменов, — если ты будешь городить такую чушь, то я сейчас же выброшу шарик к чертовой матери, совершенно не интересуясь его свойствами...

— Сделай, сделай это, — неожиданно согласился трепетный изобретатель, а потом, когда Безменов поднялся с пола, он ухватился за край его рубахи: — Оставь, оставь... не делай... я... ничего... я... выдержу...

«Не похоже на то», — подумал рабфаковец и вслух произнес, на детрюитные руды не возлагая больших надежд:

— Не нужно так падать духом. Что это, черт возьми, за мягкотелость? Где твоя выдержка? Стыдись... Ты ведешь себя хуже институтки, которой, помнится, сам же ты меня обругал... Ну, возьми себя в руки и сделай сам опыт... Черта ли, в самом деле, тыкаться носом в стенку? Ну, иди...

— Б-б-боюсь... — простонал изобретатель, повертывая к рабфаковцу лицо, искаженное страданием.

— Иди, — сурово приказал рабфаковец и, не выдержав роли, неожиданно рассмеялся, — иди и не блуди... то есть я хотел сказать: не трусь...

Востров попытался мышцами лица сделать ответную улыбку, но вышло скверно. Это он и сам почувствовал.

— Видишь, — сказал он, с усилием ворочая языком, — видишь, у меня даже лицо забастовало...

Еще минут десять пробился рабфаковец, стараясь влить бодрость в ослабевшего друга. Но заставить его подойти к свинцовому шарик у он так и не мог.

— Вот что, — сказал он, наконец, потеряв терпение и делая свирепое лицо, — я сам произведу опыт. Но если ты, если ты сделаешь хоть самую легкую попытку грохнуться в обморок — по-институтски или как иначе — я вот этой самой палкой (у него в руках была суковатая дубинка), этой палкой начну приводить тебя в чувство... Попробуй только, чертова неженка!..

Он закончил так свирепо и так внушительно потряс дубинкой в воздухе, что изобретатель не на шутку перепугался.

— Л...ладно... — промямлил он. — Я п... постараюсь ссдержаться...

— «С...сдержаться», — передразнил его рабфаковец, искусно вращая белками глаз,— ну... внимание!..

— Налейся кровью, черт тебя раздери! — внезапно заорал он, отскакивая от стола и потрясая дубинкой перед самым носом изобретателя, бледного, словно капуста, выросшая в тени. — Налейся кровью, я тебе говорю! Что это за бледная немочь?..

Он подождал, не спуская гневно-сверкающего взора с перекошенного лица изобретателя, пока это лицо действительно не порозовело.

— Теперь смотри: раз, два...

Из шарика вырвался легкий свист, но дерево, на которое было направлено его отверстие, продолжало стоять неизблемым и нетронутым. И свист прекратился.

— Что-о!! Чего-о!! — рявкнул рабфаковец, видя, что изобретатель медленно, зато верно, оседает к полу.

— Я... ничего... я... устал...

— Ах, ты устал!! Подними голову, чертова кишка!! Ну, живо, живо!.. Так, так, выше!..

Востров сделал попытку противостоять дурноте и верчению в глазах, но, не осилив ни того, ни другого, во второй раз окунулся в глубокий обморок.

...Опять пришлось рабфаковцу щекотать ему пятки, дуть в нос, разминать грудную клетку, тянуть за уши, щекотать под мышками... Одним словом, снова пришлось применить все известные ему средства — до 33-его включительно.

Дьякон сидел в соседней пещере, ни одним звуком не выдавая своего воскресения из мертвых; через трещину в стене он не только слушал, но и наблюдал за развертыванием драматического эпизода. Очнулся он еще тогда, когда «искатели детрюита» стояли над ним со скорбными минами. В пещере он окончательно пришел в себя, ощупал свои глубокие раны на конечностях и лице и прошипел с чувством, не сулящим ничего приятного никому, а в част-

ности шакалам, к которым был адресован его змеиный шип:

— Ну, коврики, ну?.. Ну-ка, ну-ка, подождите...

Его раны, пока он лежал на свежем воздухе, под влиянием животворных лучей кавказского светила запеклись и затянулись толстой коркой, однако болели отчаянно.

— Уух, коврики... Будет же вам, предатели! — еще раз пригрозил он и потянулся рукой к плите, под которой у него хранилось сушеное мясо и вода.

Движение рукой доставило ему мучительное обострение болей, но он превозмог их, — напился и наелся. После этого заснул. Во сне увидел, что попал в ад, и черти сажеными щипцами рвут ему тело, каленым железом прижигая раны... Острый запах серы; клокотание огненной жидкости в котлах; звук раздуваемых мехами костров, над которыми жарились грешники; вой и скрежет зубовой, — все это до того ярко врезалось в его обоняние и слух, что, проснувшись в холодном поту, он продолжал воочию обонять и слышать все атрибуты адской кухни.

Солнце садилось... Были голодные шакалы, на ночь не получив подачки... В дьяконской пещере стояла густая темь, кроме одного места в стене, которое светилось красным изломом, — оттуда-то и доносились адские ароматы и остальные звуки. Дьякон попробовал ползком, в сидячем положении, добраться до трещины, но оказалось, что шакалы порвали ему и мягкие части...

Он налил гневом, как яблоко румянцем. Вой голодных шакалов его раздражал до остервенения.

— У-ух, коврики!.. У-ух, у-ух!.. — Ему не хватало слов для выражения своего гнева.

Но любопытство его было сильнее гнева. Перевернувшись с громадным трудом на живот, он все-таки дополз до красного излома.

...Митька стряпал что-то в сложенном из каменных плит горне и командовал, а рабфаковец Безменов бегал, как угорелый, исполняя его приказания...

Вот он стал за меха, когда Митька крикнул: «раздуй огонь», и крупные капли пота зарубинились на его лице.

Вот он сорвался и вылетел из пещеры при новом окрике: «принеси воды».

Вот он, поняв по движению Митькиных губ новое приказание, подал ему напиток...

— Что такое там делается? — прошептал дьякон, заинтригованный вконец. — Или я все еще продолжаю спать, или они оба спятили...

В конце концов, когда работа, вследствие наступления ночи, была прервана, наблюдатель понял из разговора «искателей детрюита» их душевную драму.

— Ага, нечестивцы... — злорадно подумал он. — Это вам не меня хоронить... Это вы хороните свои идеалы...

Не отползая от трещины, он снова заснул и опять проснулся, уже с зарей, от сутолоки в соседней пещере.

Работа там продолжалась до полудня, достигнув к этому времени сумасшедшей горячки. Рабфаковец уже начал огрызаться, а Митька, прокоптившись в чаду и дыму, — хрипеть...

...Вот Митька вылил что-то в знакомый дьякону свинцовый шарик и, отвернувшись к стене, стал дрожать. Скоро загредел могучий голос рабфаковца.

— В самом деле, труба иерихонская... — подумал дьякон.

Рабфаковца он понял:

— Хочет Митьку испугом взять, чтобы он с ума не сошел... Ну-ка, ну-ка, посмотрим...

К этому времени он уже настолько окреп, что мог передвигаться на ногах.

...Сцена с пробой свинцового шарика закончилась катастрофически: обмороком Митьки.

Пока рабфаковец приводил его в чувство, дьякон успел еще раз соснуть, и снова проснулся, когда оба приятеля, побросав свои тигеля и другие приборы, оставили пещеру навсегда, причем Митька, так и не сойдя с улицы, проклял пещеру, проклял «Долину Смерти», дьякона, а заодно и шакалов...

— Скатертью дорога... — прошипел дьякон ему в напутствие.

Безменов и Востров решили вернуться в Москву, — один за продолжением учебы, другой — за продолжением изысканий. Рабфаковец похихатывал, изобретатель скрипел.

— Скатертью дорога... — повторил еще раз дьякон и, дождавшись, чтобы шаги «искателей детрюита» замолкли, разбросал камни у входа и выполз жариться на благотворном солнышке.

К нему тотчас же подступили вечно-голодные шакалы и трафаретным полукругом разместились вокруг, скуля и облизывая черные губы, не то в ожидании обычной подачи, не то в желании скушать самого кормильца.

Тогда кормилец, преодолевая боль в седалищах, поднял с земли острый камень и ни с того ни с сего запустил его в морду самого ближайшего «коврика». Стая моментально рассыпалась с визгом и воем.

— Сволочи, я вас кормил, а вы меня слопать хотели? — закричал дьякон. — Подождите, подождите, дай, я на ноги встану... Я вам покажу...

Потом он глубоко задумался, вспомнив о своем намерении покаяться и спастись. И в первую голову решил простить шакалам.

— Твари они неразумные... — растроганно зашептал он, проникаясь вдруг духом смиренномудрия и любвеобилия. — Но чем же я их буду теперь кормить, ну-ка?..

Ближе к истине было бы, если бы он поставил свой вопрос иначе:

— Чем же я сам буду кормиться?..

Дьякон так вопроса не поставил, только подумал и, поднявшись с камня, пошел осматривать соседнюю пещеру в надежде найти там если не запасы съедобного, то возможность к добыванию их. Он рассчитывал собрать и продать все химические приборы, и на вырученные деньги сделать себе закупку самого необходимого.

Найденное же превысило все его ожидания. В пещере мирно покоились три револьвера, три охотничьих ружья и масса патронов к ним. Дьякон догадался, что все это было собрано «искателями детрюита» в «Долине Смерти», как оставшееся после Сидорина, Аполлона и англичанина. Изо-

билие дичи вокруг пещеры давало возможность питаться по-царски; для начала он подстрелил расквохтавшегося на чинаре красавца-фазана, но отведать ему его мяса не удалось: шакалы мигом подобрали вкусную дичь и слопали ее вместе с хвостом и костями. Это вызвало в нем новую вспышку гнева, а потом новый припадок смиренномудрия. Впоследствии он научился, однако, обманывать бдительность шакалов, и на его столе снова появились фазаны, зайцы, утки, кулички и бекасы. Изредка удавалось подстрелить в водах безымянной реки голавля, сазана или усача и даже изысканно гастрономическую пищу — быстроходную форель.

Прошла неделя. За это время искатели детрюита успели добраться до своей родины — Москвы и с головой уйти в мирный труд. Востров, тяготея к овдовевшей Настасье, поселился на старом месте — в домике дьяконском, маленьком, в три окошечка, под сенью святого лодыря Полувия; последний, кстати сказать, носил новое наименование — чудное и отпугивающее верующих. «ИЗО комсомола» назывался он, и с утра до ночи церковка была наполнена резвыми комсомолятами, вечно занятыми пилкой, струганьем и малеваньем на почерневших иконах — с обратной стороны — серпов и молотов, портретов Карла Маркса, вождей пролетарской революции, революционных лозунгов и плакатов. Иван Безменов тоже поселился в старой своей квартире с балкончиком, выходящим на широкий зеленый двор, и снова с балкончика забубнил чеканный голос.

— Главными вопросами пропаганды должны быть: 1) восстановление хозяйства в связи с проведением через все его области курса новой политики, 2) борьба с мелкобуржуазным уклоном, 3) перспектива международной революции...

А из нижнего окошечка звенело, временами тоскливое:

— Закон Бойля-Мариотта трактует, что давление газов в сосуде, герметически закупоренном... закупоренном, одинаково распространяется во все стороны сосуда... что с

увеличением упругости газов увеличивается давление, что... нет, не могу... Ванька, Ванька! Поедем за город...

А дьякон в «обетованной пустыни» креп и креп, обрастал мясом и жиром, наливался кровью.

Через неделю он уже ходил, как ни в чем не бывало, и вместе с восстановлением здоровья «святел и святел» с каждым днем. В покаянии и молитвах проводил он дни свои, но поститься пока не постился.

— Вот ужю поправлюсь, — говорил он, — поправлюсь, как следует, тогда стану питаться акридами и диким медом...

Дикого меда в ближайшем лесу, в дуплах старых деревьев, было громадное изобилие. Однажды, выкурив пчел из одного дупла, дьякон наелся темного меда до отвала и обратно возвращался, рисуя причудливые мыслете ногами. Мед был «пьяным», ибо пчелы собирали его с плодов «винной ягоды» — инжира. Поэтому перспектива питаться таким медом отшельника вполне удовлетворяла. Другое дело — акриды...

Если в священном писании под акридами подразумевалась обыкновенная саранча — «кобылка», то, помилуйте, ведь он же не негр, чтобы питаться этой гадостью? Митька Востров, еще до сумасшествия, еще в бытность свою под общей с дьяконом кровлей, как-то рассказывал, что во время лета саранчи негры жиреют, как свиньи от желудей... Но ведь он не негр? Он — православный христианин. Это во-первых. Во-вторых, он совсем не ставит себе задачей превратиться в жирного борова... Он поститься хочет, — худеть, худеть до такого состояния, чтобы иметь возможность с грешной земли на святые небеса вознестись легче пуха. Акриды, выходит, совсем неподходящая для этого пища. Лучше он их заменит грецкими орехами, жареными каштанами, гранатами, ежевикой, виноградом, клубникой, земляникой и прочими фруктами, ягодами и плодами, которых окрестности «обетованной пустыни» доставляли ему щедро и без затраты большого труда.

На этом вопрос об акридах был закончен.

Через вторую неделю дьякон приступил к великому посту. Мясная пища с этих пор шла только на утоление веч-

ного голода стаи шакалов. Наконец-то «настаськины коврики» стали округляться в боках и обрастать новой шерстью, которая, увы, несмотря на свою густоту, продолжала сохранять неприличный вид. Шакалы до того приручились и привыкли к своему кормильцу, что спали теперь у входа в пещеру, как верные сторожа; при его появлении не бросались врассыпную, как это водилось раньше, и на зов «коврики, коврики» сбегались дружно и немедленно, если даже находились на другом краю «Долины». Все это дьякону чрезвычайно нравилось, потому что напоминало святых отшельников, приручавших и дрессировавших дикое зверье, как собственных блох. Хорошо было бы завести еще медведя, но медведи не любят тех мест, где пахнет шакалами. Приходилось довольствоваться малым.

Дни шли, мелькали недели. Дьякон постился и святел с каждым днем; последнее он и сам чувствовал. Хроническое хмельное состояние, вследствие постоянного употребления в пищу дикого меда, истолковывалось им, как сошествие святого духа и небесной благодати.

Пост, молитвы и покаяния уже не имели для него принудительного характера, как в первые дни. Потягивая из кувшина медок и закусывая фруктами, он теперь с утра и до вечера простаивал в пещере на коленях и беседовал с богом. Но пока ответа не получал. Иногда в пещеру заползал робкий шакал... тогда отшельник прерывал молитвы и обращался к нему с проповедью. Шакал повизгивал, и дьякон понимал его.

— Терпи, терпи, сукине сыне, — говорил он ему, — терпи, как я терпел, и спасешься...

Он чувствовал, что благодать наполняла его все выше и выше, как некую хрустальную вазу, и ждал с большим нетерпением того святого момента, когда через эту благодать он узрит бога. Вскоре такой момент настал, но дьякон струсил и не использовал его.

Однажды он возвращался из далекой прогулки поздним вечером. Приходилось идти узкими горными тропинками по краю пропасти. У него были спички, которыми он от времени до времени пользовался, освещая опасный путь.

Миновав горные кручи и вступив на известняковое плато, где ему был знаком каждый камешек и каждый кустик, он хотел спрятать спички, но сунул их мимо кармана. Как он их ни искал, найти не мог, а темнота сгущалась и сгущалась. Потеря целого коробка спичек была слишком чувствительной, чтобы с ней можно было легко примириться, и дьякон, сходя в пещеру, вернулся к месту потери со вторым коробком. Чиркая спичку за спичкой, он, наконец, отыскал завалившуюся в трещину пропажу... и тут произошло событие. Последняя наполовину сгоревшая спичка упала из рук дьякона в небольшую куртинку, состоящую из кустиков с кистями ярко-малиновых цветов... Куртинка вдруг вспыхнула синевато-желтым пламенем... горела пять-шесть секунд и... не сгорела... Перед дьяконом несомненно была неопалимая купина. Правда, оттуда не загремел могучий голос господ Саваофа, но это лишь из-за трусости дьякона, не сумевшего уподобиться библейскому Моисею...

Вернувшись к себе в пещеру, дьякон долго и с усердием упрекал себя в том, что проворонил благоприятный момент: ведь нужно было только воскликнуть:

— Господи, господи, тебя ли я вижу?..

А он даже этого не мог сделать.

Все-таки встреча с «неопалимой купиной» влила в его грудь огромную, прямо фанатичную надежду на спасение. Но если бы он хотя немного был знаком с ботаникой и знал, что растение, выделявшее из своих цветов летучие, легко воспламеняющиеся эфирные масла, известно каждому туземцу под названием «неопалимая купина», а ботаникам под именем «Диктамнус фраксинелля» — вряд ли дошел бы он до такого состояния экстаза, в которое его повергла встреча с таинственной куртинкой, несгораемым кустиком.

После встречи он уже не молился, а целыми днями распевал торжественные псалмы, с минуты на минуту ожидая благовещения и вслед за тем вознесения своего на небо. Дикий медок с этого поворотного момента употреблялся им в самых неумеренных количествах, отчего отшельник уже не ходил на ногах, а ползал на животе, все же продолжая воздавать хвалу Господу Богу.

И вот дождался он долгожданного.

Был день шестой и день субботний.

Святой отшельник, не уподобляясь «творцу», почившему в субботу от миротворческой работы, интенсифицировал в этот день молитвы, пост и покаяния, на дикий медок особенно приналег, а за отсутствием акрид — на жареные каштаны. К ночи, изнуренный до трясения в ногах, он с трудом вполз на площадку утеса над пещерками, опрокинулся навзничь и уперся мутным от поста взором в холодное облачное небо.

— Господи, господи, — прошептал он, — кажется, я готов...

— Ты готов?.. — прогремел вдруг голос, падая из черного прорыва в облаках.

— Ты готов? — переспросил он и, не получив ответа, предложил императивно-угрожающе:

— Тогда лети-им...

Небо колыхнулось, как в тазике вода, и звезды, облака, черные провалы понеслись с головокружительной быстротой книзу, к земле, к утесу, на тело дьякона... Мимо ушей засвистал леденящий вихрь. Больно застрекали в лицо длинные лучи звезд... Какие-то темные фигуры разбежались с пути в стороны, подобные распутанным в пруду головастикам.

— А ведь я лечу... — сообразил вдруг дьякон, приняв вначале и голос и странное поведение неба за обычные осложнения при долговременном посте и питании диким медом.

— Лечу! Лечу! Да еще как!.. Возношусь, мать честная...

Скоро его восторг, впрочем, прошел: стало дьявольски холодно. Сырость, пронизывающая насквозь, привела трясущиеся конечности дьякона в состояние еще большего трясения... Осторожно ворочая головой, он огляделся и увидел, что со всех сторон, сверху и снизу окружен молочно-белым дымом, холодным, как дыхание смерти. И еще увидел, что вознесение прекратилось.

— Вот те на!.. — промолвил он и... проснулся. Проснувшись, встал и с удивлением, выросшим до величины небоскреба, убедился, что он все-таки на небесах... Под его но-

гами ходили, клубясь, густые тучи, их протяженность захватывала беспредельный круг, служивший основанием гигантскому хрустальному своду. На одном конце свода бултыхалось, расплескивая серебряные потоки, янтарно-желтое солнце; на противоположном — так же, как и на всех остальных — ничего видно не было, кроме пограничной с чем-то, сапфирно-голубой стены.

— В общем, скучно... — решил дьякон и попробовал ногой студенистую тучу.

Любопытная история: под тучей скрывалась твердая почва... Дьякон сделал осторожный шаг вперед — никаких сюрпризов. Сделал второй — то же. Тогда он пошел смелей. Немного пошатывало и рябило перед глазами, и в то же время ощущалась необыкновенная легкость тела. На пятом шагу «почва» неожиданно расступилась, и дьякон рухнул вниз... Полетел, цепляясь за острые камни, за скорпиозные кусты... Полетел в мрачную пропасть «Долины Смерти»... На лету сообразил с остановившимся сердцем: я спал на площадке утеса, — к утру туманы взползают на утес, — я принял туманы за тучи...

Роковая ошибка закончилась тем, что отшельник, так и не сделавшись святым, с трехсотсаженной высоты грохнулся на камни, разбился всмятку и...

* * *

— Видите ли, уважаемые товарищи, перед нами, несомненно, исключительно интересный случай летаргии, осложненной... ну, как бы это сказать, чтоб было популярно... фабулярной формой истерии... Что?..

— Сам придумал?

— Да. Это я сам придумал. Такого названия в медицине нет, потому что и болезнь сама еще ни разу никем не отмечалась...

— И-хи-хи... какой умный...

— ...Если мое название не популярно, могу сказать еще проще... У уважаемого Василия Васильевича Ипостасина вот уже в течение трех дней наблюдается летаргический сон, осложненный истерической болтливостью; ею и объясняются все эти истории, которые он нам рассказывал три дня кряду и которые, несомненно, дадут нашему уважаемому литератору, товарищу Гончарову, приличный заработок... Как, Гончарка, дадут?..

— Угу...

— Я как врач и как сожитель Ипостасина могу объяснить вам, откуда наш больной черпал свои истории и, главным образом, свои познания, так искусно вплетаемые им в свои и чужие похождения. Он неоднократно слышал от меня про «Долину Смерти», о Кавказе, о моем путешествии за границу и о многом другом. Все это крепко отложилось в его голове и вот теперь, под влиянием удара, полученного им, каюсь, при взрыве в моей комнате, у него все выскочило наружу в связной и довольно интересной форме... Но я думаю, что нашему уважаемому литератору все же придется изрядно поработать над истерическим бредом больного прежде, чем пустить его в печать. Не правда ли, Гончар?..

— Угу...

— Дальше. Ипостасин неоднократно присутствовал при моих с тобой беседах на литературные темы. Не правда ли, Гончарик?.. И вот он вплел в свой рассказ и твою личность, — нужно сказать, оригинально вплел... помните ту сцену, где все его действующие лица оживают и разыгрывают роли кинематографических артистов?.. Моя личность и личность уважаемой Настасьи Поликарповны, к сожалению, выявлены им слишком пристрастно, и я прошу тебя, — слышь, Гончаров? — всего-то не передавать, иначе... ну да ладно... относительно детрюита можешь залить сколько влезет: я думаю, что через какой-нибудь месяц детрюит действительно появится на свет белый... Мне дорого стоил тот взрыв, что послужил причиной летаргии дьякона, но я уже возобновил разрушенное и скоро, надеюсь, опять примусь за научную работу...

— А дьякон-то не спит... Смотрите, глазами хлопает...

И в самом деле, дьякон широко открыл глаза и с любопытством новорожденного смотрел на свою койку, в окно — на святого лодыря Полувия, на всю теплую компанию, собравшуюся вокруг койки: на смешливую дьяконницу Настасью, на раскосого Митяича, на энергичного рабфаковца, на автора этого самого романа, то есть меня, и на многие другие вещи — одушевленные и неодушевленные, выражаясь слогом идеалистов.

— Я так и знал, — уверенно произнес Митька Востров, — я так и знал: так как дьякон перестал болтать, нужно было ожидать его пробуждения... Но это еще далеко не настоящее пробуждение. Смеею высказать предположение, что наш больной пролежит теперь абсолютно безмолвным часов пять-шесть подряд. Заметьте: таких случаев медицина еще не знала, но я смело даю свои предсказания, потому что... наш больной находится сейчас в состоянии сенсорной афазии, то есть он все слышит, но не понимает того, что говорят, он себя чувствует как бы попавшим к иностранцам...

— Представьте: ничего подобного! Я у себя, а вот как вы сюда попали — неизвестно...

Последнюю фразу выпалил дьякон и вскочил, ровно встрепанный, с койки.

От неожиданности у меня сломался карандаш, которым я записывал объяснения своего ученого друга, и поэтому я перестал записывать. Все.

Примечания

Роман «Долина Смерти» впервые вышел в свет в изд-ве «Прибой» (Л., 1925) тиражом в 10000 экз. В СССР не переиздавался. Переизд.: Екатеринбург: КРОК-Центр, 1996; Витебск, без указ. изд., 2010; Б.м.: Salamandra P.V.V., 2015.

Текст романа публикуется с исправлением ряда очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

«Долина Смерти» – одно из наиболее «игровых» произведений В. Гончарова. Автор здесь вовсе пародирует штампы советского авантюрно-приключенческого романа, сам вторгается в действие, воскрешает умерших героев, совещается с ними и т.д. Как указывает в кн. «Русский советский научно-фантастический роман» (1970) А. Бритиков, одним из объектов пародии послужил, очевидно, роман М. Шагинян «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» (1924); в то же время, некоторые эпизоды «Долины Смерти» (собрание тайного общества, приключения дьякона на Кавказе) могли повлиять на «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928).

Как и в других романах, последовавших за космической дилогией, в «Долине Смерти» Гончаров прибегает к нарочито реалистическому объяснению авантурных или фантастических приключений (сон, гипноз, навеванные болезнью галлюцинации).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.